

Л. Фриолано

10 ТЬ

МЕСЯЦЕВ

Издание  
"Красной  
Газеты"

Ленинград

ВЕРС

Л. М. Е.

Два дня я стоял в коридоре вагона столбом, как жена Лота. На каждой станции в окно входили и выходили пассажиры, поезд свистел, потом через какие-то промежутки времени гудел. Вагоны громыхали. Мы ехали.

Мы двигались к России. Персия была далеко.

Хорошо описано это у Шкловского. Так, по Шкловскому, мы и двигались много дней.

В хмурую осень проезжали царства - государства: Персию, Шатахту, Армению, Арзербайджан, Грузию, Мингрелию, Осетию.. Законы в каждой стране были другие, но в поезде ничто не менялось, — так же с набитыми проходами мы двигались по необозримым пространствам. У всех было в глазах одно: домой.

Что ждало нас там? Никто об этом не думал. Уже разгоралось пламя октябрьского пожара. Мы еще не знали, что это значит, хорошо-ли, плохо. Никого это не пугало. Скорей-бы вернуться.

В ночь на 24 ноября с двумя чемоданами и с помятыми боками я выгрузился на платформе Ростовского вокзала. На несколько минут поднялась на огромном перроне возня и суета. Человечьи фигурки заматались в пустынном и гулком пространстве дебаркадера. Шаркотня и топот ног мешались с криками и громкими разговорами. Потом звуки и люди рассосались, как будто растаяли, поглощенные ночью и темными дырами дверей. Встала снова настороженная и пугливая тишина.

Ночь была как ночь, прохладная, тусклая, и тучливое небо низко разлохматилось над городом, над самыми

домами. По безлюдной Садовой я поплелся к себе домой, на Сенную.

Электричество не горело. Газовые фонарики подслеповато мигали, прохожих не было. Сырой воздух отчетливо играл одинокой трескотней копыт и дребезжанием колес.

Меня не ждали. Я разбудил сестру, Она сначала испугалась, потом остолбенела от радости. Потом бегала из столовой в кухню и обратно, и устраивала ужин. В доме проснулись, поднялся переполох. Меня тискали, и целовали, и расспрашивали.

Я говорил о фронте Киги-Огнот, о том, как пробираются через тропинки Бинкель-Дага горные мулы, как идут в ущельях караваны верблюжьих походов, как необычна страна, по которой ступали еще солдаты Александра Македонского. Оттого, что я был в теплой комнате, среди родных лиц, тяжести и лишения и недавние страдания ушли, и воспоминания были яркие, острые, волнующие, неповторяемые. Я забыл, что тысячи людей в чужой и страшной земле умирали, чтобы горные тропинки превратить в дороги, питающие экспедиционный отряд, и что ненависть — святое дело, которому нет забвения. Пространство и время отделили меня от азиатских мест, и впечатления были как будто только о чем-то героическом, о необычайных событиях моей жизни.

К рассвету я заснул. Первая ночь у себя дома.

Я проснулся поздно. Уже стоял день, деловой, шумный. Но к обычной хлопотливости и суете примешалась тревога, как примешивается неуловимая горечь брожения к терпкой сладости вина. В эту ночь, когда я проезжал в безлюдии и безмолвии по городу, гремели выстрелы и лилась кровь. Генерал Потоцкий напал на Совет Рабочих Депутатов в здании театра „Марс“. Группа юнкеров ворвалась в помещение и три видных большевика были убиты. Фамилия одного из них была — Кунда.

Так началась гражданская война на Дону. Город был как муравейник. Везде у ворот стояли кучки беседующих, и это напомнило мне погром 1905 года, когда три дня грабили магазины, все было закрыто, а у домов стояли жильцы и обсуждали „на сколько задана свобода“.

Совет объявил войну Потоцкому, представителю Новочеркасского Правительсва и Войскового Круга. Здание вокзала, где был штаб генерала, было оцеплено вооруженными рабочими. Пулеметы цокали из переулков по длинному краснокирпичному зданию. Оттуда, из окон и из-за ограды, вспыхивали нежные облачка дыма и как будто в раздумьи медленно тянулись кверху.

Я стоял в переулке, жался к забору и наблюдал за осадой. Потом пошел по Садовой.

От вокзала, как от камня, упавшего в воду, разливалось движение по всему городу. День был пригожий, студеный, дышавший предзимью. На солнце поблескивали штыки. Патрули из рабочих и солдат ходили всюду.

Вооруженные люди в штатском были на улицах и в учреждениях.

Недалеко от Почтамта, в Соборном переулке, стояла, в не совсем строгом строю, вооруженная группа, и худой, с кадыком, молодой черноватый человек подбежал ко мне. В руке у него была винтовка.

— Вы офицер какой части? — крикнул он.

Я был в военном, на мне были погоны врача. Он, очевидно, плохо разбирался в цветах и полосках. Я сделал холодное, безразличное лицо и сказал:

— Я врач. У меня нет оружия.

Меня слегка обыскали и отпустили. От прикосновения чужих рук я испытал чувство брезгливости и бессилия. Однако, погоню не срывали. Во всем этом не было бы ничего ужасного, но перед глазающей толпой это заставляло чувствовать нечто вроде унижения.

По дороге я видел, как задерживали офицеров и отнимали у них шашки и револьверы. Делалось это не спешно, без волнения и шума. Никто не сопротивлялся. Публика около каждого разоружаемого офицера сейчас же собиралась, чтобы не пропустить редкое зрелище.

Хорошо одетые мужчины и дамы в нарядных пальто преобладали в толпе. Они обменивались шутками по поводу происшедшего. Это были плохие знатоки революции, известной им только по февралю. И они, кроме того, совсем не знали политической экономии по Марксу.

Только на лицах у немногих был испуг, который не стремились скрыть. Это были более проницательные.

Физиономии попроще довольно улыбались.

На почту меня не пустили. У входа тоже были вооруженные, по виду рабочие. Они переступали с ноги на ногу, винтовки держали не по форме, а когда я подошел, один выдвинулся и махнул рукой:

— Проходите, гражданин. Не задерживайтесь.

Вид здания, оцепленного и плененного, сразу оживил во мне смысл одной короткой фразы, часто встречавшейся мне в газетных сообщениях: „Правительственные здания в руках восставших“.

Дни побежали в перегонку. Каждый день происходило что-нибудь новое. Можно было ложиться спать спокойно, не задумываясь над завтрашними развлечениями. События сами заботились об этом.

Три дня продолжалась осада генер. Потоцкого. Потом две сотни казаков отказались сражаться и вышли из-за ограды огромного кирпичного привокзального здания, с лошадьми, чтобы двинуться обратно в свои хаты и станицы.

У берега стояла „Колхида“, — ледокол. Там была радио-станция и находился штаб большевиков. Туда же привели и посадили Потоцкого. Его там встретил высокий, грузный, с лицом монгола мужчина. Это был комиссар Временного Правительства Зеелер, тоже сидевший под стражей.

\* \* \*

Верстах в четырех, под боком Ростова, по буграм и балкам расстелилась приземистая станица Александровская. 1-го декабря подошли сюда из Новочеркасска юнкера, осколки казачьих полков, кадеты старших классов и залегли в кустарнике. Где-то слева у насыпи заняли курган.

Открылся фронт.

Новочеркасск всегда, испокон веков, косился на безшабашного соседа. Ростов вырос бурным и задорным силачем и хватку дрявlichem, оставив тщедушной, захудалой столице Казачьего Донского Войска только сонный аромат былой славы и привилегию быть резиденцией наказного атамана. К Ростову тяготел весь Северный Кавказ, мохнатая Кубанщина, Ставрополье. Задонские степи поили и кормили это американское зерно

на русской почве. Новочеркасск спал непробудным сном, кутаясь в свою историю, как в одеяло, и только косил на жизнь атаманским глазом, и недовольно ворчал на грохотавшего и ворчавшего под боком хищного и веселого зверя. Теперь они стали друг против друга.

Рабочие отряды, цепляясь за балабановскую рошу, за сады и огороды, за кирпичные заводы, держали линию фронта. Ростов не хотел, чтобы его завоевывали, и защищался. Черноморские траллеры втянулись в узкую ниточку Дона и ухали пушками. Звуки, красиво и упруго, необычайной параболой сверлили над городом. При каждом ударе снаряда притихшая толпа жалась к домам и воротам.

Потом 2-го декабря на Среднем Проспекте встречали победителя. Генерал Каледин, донской атаман, въехал в покоренный город. Молодая, неsgiбающаяся фигура генерала сидела в седле твердо, а взгляд был как на параде. Голова была плотно приставлена к короткой, крутой шее, энергичной линией уходившей в плечи.

Кричали „ура“. Кто то бросал цветы. В окнах виднелись лица женщин, улыбающиеся, приветствующие. Генерал поднимал время от времени руку к фуражке с блестящей белой кокардой. На правом виске, из под красного канта, красиво лежала седина.

В этот висок спустя несколько дней генерал всадил себе пулю.

За ним в отдалении громыхали лафеты пушек и походные кухни и тянулись донцы. Армия вступала.

А на окраинах на стенах заборов и домов белели воззвания и листовки. Д.К.С.Д.Р.П. (больш.) объявил — „позор предателям, да здравствует социальная революция“. Председатель Ревкома ЖУК обещал „Мы еще придем. Революция победит. Смерть генералам“...

Но на центральных улицах уже отлипали от стен, от ворот. Освободителей из Новочеркасска здесь встречали с торжеством.

Нас было трое. Журналист Борис Олидорт, актриса Ева Милютинина и я. Милютину мы звали тетей Фейгой. Наше трио много времени проводило в кафе „Чашка чая“. Оттуда удобно было следить за событиями.

Жизнь налаживалась. Рабочих не видно было, опять ходили по улицам офицеры в погонах. Юркие человечки шумели во всех кафе и сильно жестикулировали. Вечером прибегали газетчики с листами, пахнущими еще типографской краской, и кричали: — „Приазовский Край“ на завтра!

Газеты расхватывались моментально. Всем хотелось за пятак обогнать на день события. И ближние и дальние.

Ближние события цеплялись за Лиски, Царицын, ст. Лихую, Звереву, Луганск. Эти имена чаще всего мелькали в сводках и донесениях.

Дальние — разворачивались по всей Европе. Главным образом на линиях фронта. Немцы подались назад еще на полкилометра после трехнедельной битвы. Борьба шла уже на позициях зоны Гинденбурга.

В Киеве был венчан на гетманство Скоропадский. Немцы подпирали его штыками, сидя на украинском хлебом черноземе. „Deutschland, Deutschland, uber alles“ слышалось все ближе. „Приазовский Край“ был в смятении. Союзники — далеко, а немцы — рукой подать. И с каждым днем расстояние уменьшалось. Исконная ориентация, обоснованная самим Милюковым, была на Францию и Англию. Как же теперь? „Приазовский Край“ не знал, как быть. Не знали этого и мы. То есть я, Олидорт и тетя Фейга.

На заборах вдруг появились плакаты. Сперва один, другой, как то незаметно. Потом еще и еще. И вдруг город оказался вовласти воззваний. Офицер джентльменского вида, с обаятельным взглядом, очень красочно расписанный, тыкал в вас пальцем: „Если хочешь спасти Родину, записывайся в Армию“. На трехаршинной афише маршировали необозримые полки: „Разве ты еще не с нами, за Великую, Единую, Неделимую Россию?“

Красивая женщина с ангельским лицом полулежала на земле, распустив волосы. Угасающим взором провожала она вас с плаката и говорила словами подписи: „Измученная Родина зовет тебя“.

Четвертая страница „Приазовского Края“ стала каким то неофициальным отделом военных формирований. „Офицеры и солдаты Л.-Гв. Кексгольмского полка, записывайтесь в формируемый Л.-Гв. Кексгольм-

ский полк. Никольский пер. № 23“, „Офицеры Л.-Гв. Павловского полка приглашают сослуживцев образовать крепкое ядро славного полка. Адрес: Дмитриевская ул. № 32“.

Тут же и партизаны. „Полковник Семилетов зовет всех, в ком еще живет смелость и благородство, кто не хочет быть покорно ограбленным и убитым разбойниками — большевиками, присоединиться к его отряду“.

Есаул Чернецов искал тех, кто „За Свободу и Русь“.

Каждый день появлялось что-нибудь новое в этом духе.

Однажды двери „Чашки чая“ раскрылись и впустили посетителя. Был жаркий июльский день. В кафе воздух густел от табачного дыма.

Вошедший был военный. На рукаве защитного цвета, чуть ниже локтевого сгиба, был вышит крупный шеврон. Черный череп в обводке голубого канта скалил зубы над двумя накрест сложенными трубчатыми костями.

Так впервые я увидел офицера из батальона смертников. Потом они попадались все чаще и чаще. Черно-голубой шеврон говорил об их решимости победить или умереть. Увы, история показала, что умереть оказалось легче, чем победить. Впрочем, для многих уйти за Черное море оказалось еще легче, чем умереть.

Ни для кого не было тайной, что в особняке Паромонова, на Пушкинской улице — штаб генералов Корнилова и Алексева. На улицах попадались мохнатые шапки текинцев, — охрана быховских узников. Генерал-агитатором формируемой Добровольческой Армии был матрос Баткин. Этого худошавого черного человека, подвижного и нервного, я и Олидорт встречали часто. Когда он занимался делом, — было непостижимо. Неужели его роль была распропагандировать толстяка Абрама Швейцера, администратора театра „Гротеск“? Вряд-ли. А между тем, чаще всего мы видели их обоих за стаканом коньяка.

Над городом носилась тревога. Кольцо Красной Гвардии сжималось, заходя широко от донецких рудни-

ков. Новочеркасские войска митинговали и бросали фронт.

8-го февраля в атаманском дворце прозвучал выстрел. Каледин застрелился, сидя за письменным столом. Мертвая голова генерала упала на карту Донской Области, заливая кровью восточный угол.

Через два дня „3-ья Юго-Восточная Колонна“ тов. Сиверса громыхла батареями по всполошенным улицам Ростова. От плакатов Кексгольмского и Павловского полков остались лоскуты. На заборах и стенах белели уже листовки Военно-Революционного Комитета и приказы коменданта. Тов. Сиверс! Кто он был? Немецкий офицер, — шептали одни. Рабочий шахтер, — говорили другие.

Самые неожиданные слухи ходили об этом молодом, с чахоточными пятнами на скулах, командующем 3-ей Колонной. Ему же некогда было показываться и объясняться. Добровольческая армия начала „Ледяной“ поход. Нужно было позаботиться о кольце для нея. „Кольцо“ — это было самое модное слово, наиболее популярный термин военной стратегии. „Кольцо“ было в каждой сводке с фронта. „Мы берем кадетов в кольцо“. „У ст. Усть-Лабинской мы взяли добровольцев в кольцо“. „Корнилов в кольце Красной армии под Екатеринодаром“.

Революционный порядок устанавливался в городе. Матрос Крылов в особняке Зеелера председательствовал в Трибунале. Ревком, укреплявший гражданскую власть, накладывал контрибуцию на буржуазию. Комендант Войцеховский, укреплявший военную власть, накладывал контрибуцию на буржуазию. Комиссар по Здравоохранению производил набор врачей для Красной армии. Демонстрации, празднества, шествия, парады, делали новый быт. Я, Олидорт и Милютина — Фейга уже не сидели в кафе. „Чашка Чая“ была закрыта. Помещение заняло отделение милиции.

Дни бежали как угорелые. Не успели опомниться, как пришли немцы.

Было это в начале мая. На Софийской площади между Ростовом и Нахичиванью еще стояла трибуна, обитая кумачем. Только что отпраздновали 1 мая. Красная материя лохмотьями билась по ветру, как

будто хотела улететь и не могла, а из-за бугров Термерника надвигались серые, как пыль, колонны.

На спуске к Дону, по Николаевскому переулку, увидел я последнего красноармейца. Он гарцовал на беспокойной лошади. Лицо было нахмурено и решительно. Он видимо страдал от жары в своей кожаной тужурке, а за ремень были засунуты ручная граната и наган.

— Товарищи, — спрашивал он, — а тут к Дону ход есть?

В толпе не было ни хороших пиджаков, ни лакированных ботинок. Ему отвечали сочувственно. Кто-то спросил:

— А вы, товарищ, какой части будете?

Конный озабоченно глядел вдоль улицы.

— Перваго Революционного Саратовского полка, — ответил он, вертясь на месте. — Отбил я от товарищей.

Он поскакал вниз к реке. А я пошел дальше.

У Баташевского спуска стояла кучка людей, жадно смотревшая в даль. На земле лежал труп. Через восковой лоб тянулась полоска крови.

— А вот и немцы, — сказал кто то.

Я взобрался на штабель досок. Далеко в степи двигалась длинная гусеница. Она свивалась, развивалась, следуя дороге. Чудовищная стоножка тянулась к городу.

Вечерело. Облако пыли носилось как темная кисея. У соседа я попросил бинокль. Ясно различались орудия, пехота, стальные каски. Шли эти войска как на парад. Под Таганрогом их встретил Серго Орджоникидзе.

Он спросил у них: — зачем вы идете? Ведь войны с вами нет. Есть брестский мир.

Что ответили немцы, — я не знаю. Но сегодня они пришли в Ростов.

Началась немецкая оккупация.

В „Приазовском Крае“ появились сводки Штаба Верховного Главнокомандующего Германскими Армиями. В номере от 12 мая 1918 г. среди сообщений из под Вердена, с Соммы, Ипра, из Малой Азии значилось: „На Юго-Востоке наши части достигли берегов Азовского моря и устьев Дона“.

В Новочеркасске стал править ген. Краснов, тот самый, что с Керенским шел на большевистский Петроград. Теперь он опирался на оккупантов. Ядро успокоило Корнилова под Екатеринодаром. Деникин и Алексеев вырвались из „кольца“ и вернулись в Ростов. Добровольческая Армия развернула свое знамя.

Немцы поставили батарею на Нижнем бульваре. Жерла пушек смотрели на зеленую равнину Заречья. Каждый вечер канонада потрясала придонскую тишину.

Под самым носом Ростова вдруг объявился Верден.

На железнодорожной магистрали, верстах в семи от города, зиял взорванный пролет моста. Каменные быки несли на себе скомканное тело металлического гиганта. Сейчас же за обгорелыми вагонами начиналось царство красных.

Крохотная станция Батайск не хотела сдаваться. На канонаду мортир она свирепо отплевывалась трехдюймовками. Цепи казаков и добровольцев, ходивших в атаку на зеленый поселок, оставляли убитых и бежали обратно.

Вокруг Батайска создавались легенды. Говорили, что там Троцкий. Потом приезжал Ленин и произносил на митинге пламенную речь. Говорили, что Англия заключила с Батайском единый фронт против немцев, а командует там генерал Поте.

Не помню, как это вышло, что в один прекрасный день Верден растаял. Красные ушли.

\* \* \*

Кафе „Чашка Чая“ открылось снова. Опять я, Ворис Олидорт и Фейга делали за угловым столиком большую политику. Момент был весьма подходящий. Немцы сдали линию Гинденбурга. Американцы выбросили миллион человек на поля Франции и Бельгии. В неясной лаконичности германских сводок чувствовалось начало конца. Когда, гремя палашами, входили немецкие и австрийские лейтенанты и заказывали высокомерно кофе, Олидорт говорил: — Чего там хорохориться? Здорово накладывают по заливку!

И вдруг — телеграммы. Англо-французский флот в Константинополе. Турция сдалась на милость победи-

телей. Был не то июнь, не то июль сумасшедшего восемнадцатого года.

Я с родным уехал в Крым. Поезд тащился по оккупированной немцами земле. Пассажиры ехали как поселенцы в Сибирь, с котелками, кастрюлями, снедью, мелким домашним скарбом, с походной печуркой, с ванночками для детей. Ехали в теплушках. Это — счастливы. Несчастливы же от станции до станции сидели в вокзальных буфетах по 3 — 4 суток.

В Джанкое к нашему теплушечному поезду прицепили чистенький классный вагон. В окно выглядывала одинокая голова лейтенанта. Я поправил погонь и вошел в вагон. На скверном немецком языке я просил разрешение для двух дам с детьми занять соседнее пустое шестиместное купе.

Высокий воротник подпирал кадык офицера. Он с усилием наклонил голову, давая согласие.

Так мы и приехали в Крым, в Коктебель. Небо и море были чудесны. Я валялся на песке, как черепаха. Потом бежал в воду и болтался на волнах.

Однажды вечером я возвращался на дачку. У какого-то окна я услышал голос, скандировавший стихи. Коктебельский мудрец читал свою поэму: „Пугачев“. Чтение было хорошее, да и написана вещь была прекрасно. Это был отзвук современности.

Иногда в далеком мареве по шоссе проходил, как на туманных картинах, немецкий отряд. Куда они шли? Зачем? Это меня не интересовало. Но это тоже был отзвук современности.

Вскоре эти отряды начали маршировать в обратную сторону. Шли они уже не так стройно в далеком мареве горизонта. Ибо это были уже солдаты побежденной страны. Тезисы Вильсона прозвучали над сражающимися. Маршал Фош в Шенбронском лесу готовился принимать парламентаров Гинденбурга с белым флагом.

Плыло знойное лето юга. Я чернел на золотом песке. Было хорошо лежать у моря, уткнув глаза в небо, тыкаясь в облака, носившиеся как клочья ваты над земным простором. Повернешься на бок, смотришь: идет берегом мудрец, обросший бородой. Над волосатыми голенами болтается античная туника.

— Здравствуйте, Максимилиан Волошин.

Вечером стоит на ступеньках волошинской дачи неистовый Евреинов и мотает своей поповской головой. Значит диспут. Подходишь ближе. В самом деле, так и есть. Очередное выступление, доклад с прениями о „Театре и жертвенности“. Или что-нибудь в этом роде.

Однажды я с родными сел на пароход и уехал к себе в Ростов. Теперь уже чувствовался порядок. Значит враги далеко. Ехать по морю безопасно. На пристанях подходили вежливые офицеры и проверяли документы, а подозрительных куда-то уводили. Впервые тогда услышал я слово „контр-разведка“. А офицеры были гладкие, краснощекие, выхоленные. Хорошая порода.

В Мариуполе на пристани увидел родную газету „Приазовский Край“. И посыпались новости. Генерал Деникин вырос в Главнокомандующего вооруженными силами Юга России. Екатеринодар, где глели кости Корнилова, был столицей. Барон Врангель развертывал корпуса, брал Армавир, Ставрополь. Шкуро атаковал Минераловодскую группу. Зачиналась Великая, Единая, Неделимая.

\* \* \*

Пушки уже не гремели над Доном. Где-то в Сальских степях, у Черного Яра, по Ставрополю полыхали бешено зарницы, горело в полнебо марево пожаров и кровь щедро утучняла почву для будущих посевов. Революция, грозно воя, откатывалась в астраханские солончаки.

Ростов переживал золотые дни Аранжуэца. Это было время упоения первыми победами. Купечество жирело на многомиллионных поставках. Дельцы варились в соку спекуляции. Кафе, рестораны, гостиницы, дома свиданий, все подозрительные места были наполнены мундирами и яркими женщинами. Сюда сбежался цвет гвардии и знати. Обыватели указывали пальцами: „вот — княгиня Оболенская. Вот граф Гендриков“. Поручики, подпоручики делали в неделю карьеру от двух звездочек до красных лампасов. Они проходили по улице с видом утомленных победителей.

Деньги падали неудержимо. Обезценение бумажных знаков стало бытовым явлением. Никто однако не воз-

девал, негодуя, рук к небу. Иностранная валюта добродушно плыла в подставленные карманы. Только в переулках окраин, на Собачьем хуторе, на Темернике, Новопоселеновке, Нахаловке, с ненавистью стискивали зубы. О долларах и фунтах там не знали. И голодали.

Но здесь, перед моими глазами жизнь вошла в колено. Золото и любовь заняли свое место. Любви же было много. Ее навезли из Москвы и Петрограда и она, освященная гербами и титулом, продавалась недорого.

Надо было и мне начинать работать. Я пошел в клинику. Профессор Агоджаньян, психиатр, постучал карандашом по столу. Его по восточному красивое лицо улыбалось. Должно быть он уже провидел Константинополь.

— Работайте, работайте, — сказал он. — Работайте, пока можно.

Я щупал и выстукивал и проверял рефлексы. Люди раздевались, я ударял их молоточком в разных местах. Руки, ноги, пальцы прыгали. Я просил открывать и закрывать глаза, сдвигать ноги, наклоняться. Больные жаловались на нервы. И я отыскивал эти нервы, которые так дурно себя вели. Потом я писал рецепты. Застегиваясь на ходу, больные спешили уступить место другим. А больных было урожайное число.

Вернулся я из Крыма в сентябре. А в октябре пришла повестка от коменданта города: „явиться согласно приказа за № 1071. Полковник Фетисов“.

Повестка мне определенно не нравилась. № 1071 был неведомой цифрой. Но угрожающей. Вечером, за угловым столиком я, Олидорт и Фейга обсудили положение.

— Пойдите, — сказал Борис. — Может быть это и не мобилизация. А кстати, кланяйтесь Фетисову. — Борис не спрашивал меня кланяться. Фетисов был герой. Завоевал-же он славу еще во времена Сиверса. Было это так.

Сиверс ушел за Корниловым на Кубань. В городе остался Войцеховский, питерский металлист, гроза ростовских буржуев. Антонов-Овсенко, Главком всех вооруженных сил, борющихся с контр-революцией Юга, назначил его комендантом. Ревком выпускал декреты

и распоряжения. Все шло гладко. Пора было устраивать съезды.

Так оно и вышло. В марте съехались в Ростове представители от всех ревкомов Области. Председательствовал казак с горящими острыми глазами, Подтелков.

Начались заседания. Пошли доклады. Везде по области революцию октября встретили, мол, с распростертыми объятиями. Белых не было и в помине. Стар и млад были рады новому положению вещей. Даже кулаки сгнули.

Незаметно, бочком, протиснулся к президиуму человек, к стулу председателя. Подтелков прочитал бумажку, побледнел, потом вспыхнул. Прерванный на полуфразе, оратор замолчал. Подтелков взял слово для внеочередного срочного заявления.

Бумажка оказалась телеграммой. „Съезду Революционных Комитетов Донской Области. Ростов. Сегодня мной и восставшим казачеством взят город Новочеркасск. Все большевики арестованы и находятся заложниками в тюрьме. Требую передачи всей власти на Дону новому казачьему Правительству. Выдать главарей. Съезд объявляю распущенным. Поручик Фетисов“.

В первую минуту опасность показалась реальной. Потом разобрались.

Восстала Кривянка и захватила врасплох Новочеркасск. А Кривянка — крошечная станица под новочеркасским плечом, вроде предместья. Старики вышли с дедовскими ружьями, чуть ли не с дрекольем.

Дерзость телеграммы гальванизировала съезд. В поезд погрузили Красную Гвардию. А из Александра-Грушевска шахтеры уже занимали первые улицы окраин. Фетисов скрылся. Половина кривянцев домой не вернулась.

Вот почему Фетисов был осенью 18 г. комендантом Ростова и полковником. Его заслуги вспомнились.

Комендатура помещалась на Казанской улице. Щегольские адъютанты бегали из двери в дверь. Писаря склонялись над бумагами. Я толкался из комнаты в комнату.

Меня принял офицер, очень приятный, в восхитительных бриджах. Он взял повестку и исчез.

А через полчаса писарь кричал, коверкая фамилию: — Врач Фридман. Кто врач Фридман?

Я получил предписание. Меня отправляли в распоряжение Начальника Военно-Санитарного Управления Всевеликого Войска Донского. К документу были приложены литеры до Новочеркаска.

Вечером я, Олидорт и Милютина обменялись взглядами на сущность власти, как таковой. Я оказался анархистом. Борис меня поддержал. Милютина считала необходимым смену режима.

Итак, я был мобилизован.

2.

Нежно-зелеными полями, мимо плоских кирпичных заводов, тащился черепашьям шагом поезд-молния. Осень, а еще жарко, протягивается паутина вдоль окон — бабье лето. Вагоны набиты. В Новочеркасске — центральная власть и учреждения. Каждый едет со своими нуждами, обязанностями, делами. Все с портфелями. Густо тянутся ловцы в мутной воде. Все туда А у меня своя дума, и на душе пусто и скучно, как на укатанной дороге.

Против меня толстяк с обиженными глазами. Он, как и я, без портфеля. Ему жарко. Светлыми, несколько на выкате глазами, он ловит мой взгляд. Ему очевидно хочется пожаловаться на обиду, а на него тесно насаждает дама. Сквозь пудру у нее на лице проступают красные пятна. Она, безпрестанно ворочаясь, болтает с офицером о военных делах.

— Вы не знаете, — обращаюсь я к толстяку, — когда мы будем в Новочеркасске?

Дама неожиданно отвечает:

— Через пятнадцать минут. Знаете, ужасные непорядки на дороге. Вместо получаса едем чуть ли не час. Не понимаю, отчего в газетах не проберут начальство дороги. Я обязательно расскажу генералу Корочкому.

И она говорит о генерале, который может навести порядок. Мне не по душе беседа с ней и я угрюмо произношу два слова:

— Благодарю вас.

А толстяк молчит. И только иногда жалобно ловит мой взгляд.

Вдали поднимается заводская труба. Это Новочеркасск. Потом — на пологом холме вырастает огромный квадрат ржавого цвета, не то тюрьма, не то казарма. Дальше бегут домишки окраин.

Мы приехали.

С детства я знаю этот город. Евреи Ростова со страхом и замиранием сердца произносили — „Новочеркасск“. Там жил наказной атаман. Нужно ли было приходить в содрогание от его имени? Еще бы! Правожительство было в его руках. 20 тысяч человек разного пола и возраста зависело почти от одного его настроения. Мой отец говоря: „наказной атаман“, закрывал глаза от наплыва почтительности.

Было у меня еще воспоминание об этом городе. Я был студентом-первокурсником, а Саничка Чистович — ничем. Так себе, обыкновенным еврейским экстерном. И оба мы распространяли книги издательств „Просвещение“ и „Культура“. Теперь Саничка коммунист, в Москве, большое лицо в каком то Институте. Красный профессор. А тогда мы оба были агенты.

Начало нашей карьеры мы заложили именно в Новочеркасске. И таким вот образом. С поезда мы прямо пошли на работу. На парадной двери у первого дома висела карточка — „Петр Николаевич Залогин“.

Я позвонил резко и властно. Дверь открылась. Горничная спросила:

— Что вам угодно?

На мне была студенческая тужурка. Я, блестя металлическими пуговицами, сказал твердо:

— Петр Николаевич дома?

Она посмотрела на нас мягче.

— Сейчас узнаю. — Она посмотрела еще раз на мои пуговицы и папку и добавила. — Сейчас доложу.

Потом нас ввели в гостиную. Ставни были открыты, в комнате был прохладный полумрак. За стеной кто-то возился. Чем-то двигали. Шептались, к чему то готовились. Мне эти приготовления не понравились.

Наконец, горничная распахнула обе половинки двери и почтительно сказала:

— Пожалуйста.

Я пошел вперед, делая уверенное; несколько развязное лицо. Позади меня Саничка прятал руки в рукавах кургузого пиджачка.

Мы вошли и у меня внутри сразу что-то оборвалось.

В огромном кабинете у края письменного стола стоял вытянувшись генерал. Борода прикрывала грудь, увешанную орденами. Он был в полной форме, сверкавшей до боли в глазах.

Наше появление вызвало в хозяине нескрываемое изумление. За кого он нас принял? Что доложила ему горничная? Во всяком случае, я хотел бы более скромной встречи.

— Мы являемся представителями, — начал я, — крупнейших издательств „Просвещение“, и „Культуры“. Всякий купивший...

Генерал вдруг задвигался, теряя парадную неподвижность. Должно быть, он умел владеть собой. Он оборотом сухо сказал, садясь в кресло, к нам в полуоборот:

— Мне ничего не надо... Маша! — раздраженно крикнул он. — Проводи!

Маша проводила нас менее почтительно, чем впускала. Входная дверь неприлично громко стукнула за нами. Мы же после этого стали бояться новочеркасских карточек

Город был тот же. Улица от вокзала ползла в гору. Наверху стояла триумфальная арка с надписью — „Добро пожаловать, великий государь“. Это сооружение осталось еще со времен посещения города Николаем II по случаю открытия памятника Ермаку. Против статуи завоевателя Сибири массивно раскинулся белочерный собор.

В военно-санитарном управлении была толчея. Посетители уныло слонялись по комнатам. Везде наклеены были этикетки: Отдел Снабжения, Отдел Фармацевтический, Отдел среднего медицинского персонала... От низеньких потолков, толстых арочных стен, от чиновничьей сосредоточенности веяло скукой и неподатливостью. За столами сидели люди, другие перед ними выжидательно-тоскливо стояли.

В первой комнате я увидел широченную спину. Это был толстяк, мой спутник по поезду-молнии. Он перебирал у окна какие-то бумажки.

Когда он меня увидел, его круглое лицо выразило радость. Потом радость сменилась выражением скорби.

— Подумайте, — сказал он мне, как старому знакомому. Голос у него оказался неожиданно тоненький. — Подумайте, меня мобилизуют. У меня семья, трое детей, у меня порок сердца, от лишнего движения-одышка. Наконец, я гинеколог. И меня хотят послать к чорту на кулички. Как вам нравится? У меня все бумаги от комиссий, вот они. А для них, понимаете, это ничего не значит.

И он добавил, значительно понизив голос, почти шопотом:

— Это же произвол.

Он растерянно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Его лоб был покрыт каплями пота.

Мою фамилию вызвали. За одним столом я расписался в получении предписания. Бумага предлагала мне направиться в станицу Нижне-Чирскую для несения службы в военно-санитарных учреждениях фронта. Явиться к окружному врачу, надворному советнику доктору Астахову.

Толстяка я больше не увидел ни в Управлении, ни на улице. Был полдень. Солнце назойливо светило. Приземистый дом "Синодальной типографии" грузно и мрачно поднимался на углу.

Теперь я заметил сильное уличное движение. На главной артерии города люди торопились в разных направлениях. Множество военных гуляло по бульвару. Автомобили распространяли в воздухе кисловатый запах бензина. Чистильщики сапог шныряли под ногами. Это уже не походило на патриархальную резиденцию Наказного Атамана.

Столица донской вандеи жила шумной, обновленной жизнью.

\* \* \*

Прошло много дней; я все еще не выезжал. Наконец, дальше нельзя было тянуть.

Был ноябрь, конец ноября. Стояла погожая осень. Иногда холодный ветер носился над городом. Обрывки бумаги летали в пыли. Опавшие листья шуршали под ногой. Этот звук осени вызывал слезы и всюду я улавливал вздох кладбища.

Рыжеволосая женщина любила меня. Она не хотела разлуки, грозившей расставанием навсегда. Я метался, не знал, что делать. В сумраке комнаты мне чудились тени. Они шевелились, безформенные, неосязаемые. В груди становилось тревожно и холодно.

Вечером мы собрались в "Чашке чая". В последний раз я, Борис и Ева сидели в кафе, за угловым столиком. Отъезд был назначен на завтра.

— Вам не повезло, Лева, хотя вы и вояка с пятнадцатого года, — шутил Олидорт. — Впрочем, кто знает? Может быть вас ждет если не слава, то интересное путешествие. Будьте философом. Каждый солдат Наполеона носил в ранце маршальский жезл. Кто знает, что вы носите в своей медицинской сумке?

Я уныло мешал ложечкой кофе.

— В сущности, — сказала Милютина, — вы попадаете в момент, наименее для вас тяжелый. Большевиков гонят и бьют. Добровольцы и казаки непобедимы. Шкуро захватил Минераловодскую группу. Полковник Врангель очищает от красных северный Кавказ. Ведь коммунисты не имеют армии, у них не войска, а сброд. Вам предстоит в действительности только военная прогулка до Москвы. Вы не успеете утомиться. Уверю вас, вы скоро будете свободны.

Милютина сделала обзор событий в стиле передовицы "Приазовского Края". Репутация Фейги была среди нас окрашена в красный цвет. И теперь этот монолог звучал иронией.

— Я ненавижу всякую войну и всякую власть, — сказал я мрачно. — Может быть, по законам истории кровопускание необходимо. Пусть так. Но я не хочу, чтобы это меня касалось.

Рассказывали, что на фронте красные не щадят даже медицинский персонал, захваченный на поле битвы. Повязка Красного Креста вызывает только смех. Буржуазный Красный Крест! Я спрашиваю себя — есть ли у них в армии врачи и сестры? По слухам — бывшие ротные

фельдшера назначены врачами, а вместо сестер — проститутки.

Я слушал и верил. Все может быть. Мало разве „Приазовский Край“ печатает чудовищного материала о зверствах большевиков. А чрезвычайка? Разве это не возрождение опричины?

Милютин нервничает.

— Я не понимаю, — говорит она, — отчего они так свирепы? Но может быть это не совсем так. Нет ли здесь преувеличений? — осторожно говорит она. — Ведь это война, вот что не нужно забывать.

Но я возражаю. Я вспоминаю рассказы о расстрелах гимназистов, расстрел доктора Пергамента и еще другое, разное.

— Но может быть это просто бандиты, — говорит она, — а валят на Красную армию? —

Борис прищуривает глаза и хлопает меня по плечу.

— Не бойтесь, Лева, — говорит он дружески и вместе с тем шутливо, как всегда. — Вы въедете в Москву на белом коне.

Но я знаю, что не эти ужасы делают меня невеселым. Я не хочу воевать — вот и все. Мне не для чего и не для кого идти на фронт. Я хочу жить в большом городе и работать в клинике. Меня привлекает научная деятельность. Ни для каких генералов я не хочу ломать своей жизни. А тут надо завтра ехать.

Впрочем, на завтра я не уехал. Что то помешало. А вечером я и Борис отправились в „Гротеск“.

Столики были облеплены людьми. Преобладали военные. Бутылки хлопали, лакеи бесшумно разносили блюда. Спектакль еще не начинался.

— Смотрите туда, на передний столик, — сказал вдруг Борис, одергивая меня. — Видите высокую англоязычную даму? Это великая княгиня Мария Павловна младшая.

Я не знал и старшей. Но с любопытством рассматривал яркую женщину с высокомерным взглядом. Пила она вино, однако, совсем по обыкновенному.

Рампа осветилась. Конферансье был пенснэ и безукоризненном фраке. Плотный мужчина впереди меня беспрестанно хохотал. Его лицо кого-то напоминало. Кон-

ферансье к нему обращался: — Аркадий Тимофеевич. Наконец я догадался. Это был Аверченко.

Прошло несколько номеров. Сизый дым носился в воздухе. Зрители вели себя непринужденно. На сцене играли под стук вилок и ножей в зрительном зале.

Занавес сдвинулся. Конферансье выскочил к рампе.

— Тише! Внимание! — закричал он пронзительно. И когда несколько стихло, продолжал:

— Позвольте мне представить вашему любезному вниманию дорогую гостью, только что вырвавшуюся из цепких лап большевиков, артистку Софию Семенову Вадабурину. Надеюсь, вы не откажетесь вместе со мной приветствовать ее.

Гром аплодисментов заглушил стук тарелок и вилок. Из боковых сукон выбежала полная женщина с водородными волосами, с лицом, которому пухлость придавала молодость. Улыбаясь счастливой улыбкой, она наклоняла во все стороны свой массивный бюст, стараясь быть грациозной. Потом она говорила очень долго на высоких нотах об ужасах петроградских чрезвычайок. „Но, слава богу, здесь я опять в России“.

Последние слова были снова покрыты аплодисментами.

Потом представление продолжалось.

В середине программы в дверях из фойе в зрительный зал зазвенели громко шпоры. Вошла группа военных. В центре был белесоватый офицер в черкеске. Приземистый, курносый, он походил на Павла I. Движения его были размашисты.

За столиками зашептались.

Номер кончился. Конферансье снова выскочил и изящно согнул талию. Его поднятая рука водворила тишину.

— Господа, — сказал он с приятной улыбкой. — Среди нас находится сейчас герой Добровольческой Армии. Я думаю, мне позволено будет вместе с вами, господа, выразить наше восхищение генералу Андрею Андреевичу Шкуро.

Публику охватило возбуждение. Все поднялись с места и стоя аплодировали. За отдельными столиками офицеры кричали „Ура!“ Великая княгиня голосом, в котором было опьянение, громко хохотала, не-

смотря на высокомерие и англазированность. Остальные шумели, как могли.

Вдруг все стихло. Курносый офицер вскочил на стул.

— Мне очень приятно...— начал он громко, — господа! Я надеюсь скоро, на обратном пути из Москвы, опять вас здесь увидеть...

Мне стало скучно и безрадостно. Борис остался ждать Милютину. Я простился с ним и ушел.

3

Двадцать четыре часа поезд тянул через станции Северо-Донецкой дороги. Вагончик был старый, скверный. В таких мне никогда раньше не приходилось ездить.

Глубокой ночью паровоз засвистел и состав грохнул колесами. Мы стояли у станции Чир.

Я потащил чемодан. Огонек в вагоне потух. В темноте, стукаясь головой о выступы, я выполз на платформу. На платформе не было ни души.

В вокзальном здании мигал свет. Снег по колено засыпал землю.

В проходе между двумя горами выюков передо мной вдруг выросла огромная фигура. Овчинная шуба с невероятным воротником делала человека гигантским. Я обрадованно крикнул в том направлении, где можно было предположить голову:

— Эй! А как тут до Нижне-Чирской добратся?

Фигура отозвалась тем местом, где была голова:

— А я отвезу ваше благородие.

Кляченка перебрала несколько раз ногами, потом тронула. Полозья, как живые, завизжали. Колокольчик на дуге нерешительно звякнул, потом ритмично запел. Чемодан ударял меня по коленям, а на сугробах отдавливал пальцы.

Я ушел по уши в бекешу. Есть вещи — как иные люди. Они с вами во всех крупных событиях. Бекеша была неразлучна со мной еще с походов пятнадцатого года.

Мы выехали в поле. Не было ни неба, ни земли, и наше движение напоминало движение ядра сквозь

млечную туманность. Ветер крутил мелкую снежную пыль нескончаемым облаком. Пение колокольчика стало однозвучным.

Одинокие ветлы гнулись в мою сторону, как будто хотели рассмотреть меня. Они казались живыми и покачивали в раздумьи голыми ветвями.

Иногда ветер принимался завывать. Снег засыпал лицо, покалывал шею и таял за воротником.

Прошло много времени. Дорога шла вниз, потом поднималась. Сани скользили и наклонялись, вздрогнув, как будто собираясь перевернуться. Чемодан стучал больно о колени.

Потом в шум метели влился звук четкий и звонкий — стук копыт о лед. Переехали реченку. Я высунил нос: беспросветная серая мгла носилась передо мной волнами. Я показался сам себе призраком.

Впереди что то зачернело и навстречу медленно выплыл из сумрака всадник. Лошадь и человек слились. Верховой бесшумно, в этом гуле бурана, пронесся мимо, и сгинул, как черная нечисть.

Почему то мне вспомнилась „Капитанская дочка“. Так на заметеленной дороге страшный Пугачев вырос, приблизился и исчез.

Начали попадаться чаще бугры. Лошадь бежала ложиной, стало тише. На одной кочке чемодан повернулся и прижался тесно к ноге, как кошка.

Я задремал.

Разбудил меня толчок. Сани стояли. Была та же глубокая ночь. Снег не падал. В крепком воздухе высоко горели звезды.

Двухэтажный дом тянулся вправо и влево. Дверь открылась со скрипом и пар за клубился в широкой полосе света.

На жести, прибитой к стене, было нацарапано белой краской:

„Комендант станции Нижне-Чирской“.

Я прибыл.

\* \* \*

В станции нашлась гостиница. В нетопленном номере сон был крепок, без видений. Утром я встал све-

жий и бодрый, выпил стакан чая, пахнувшего железом. Потом оделся и вышел.

Домики показались мне чистенькими. Они еще спали, как-будто замороженные снегом и тишиной. На коньках и крылечках снег лежал нетронутый, пушистый. По середине улицы стояли в два ряда деревья, также осыпанные снегом. Тоненькие жердочки изгороди отделяли бульвар от дороги.

Было 8 часов утра.

Я прошел полквартала и остановился. Все было как будто знакомо: и эта тишина, и эти домики с деревянной резьбой над окнами, и эти смешные балкончики, огороженные низкими решетками, и полисадники перед каждым фасадом. И скворешницы, почти над каждой крышей, будили во мне что-то неясное, далекое, словно уже когда-то виденное.

А тишина оставалась все такой же неторопливой.

Вдруг я услышал шум. Еле слышный звук как будто зарождался в бесконечности этого утра, такой неопределенный, точно он мог каждую секунду оборваться и исчезнуть.

Но шум не исчезал. Он нарастал, приближаясь. Потом он превратился в широкий гул движения.

Из-за угла вытянулась голова колонны. Вооруженные люди тоненькой ниточкой обтекали толпу плохо одетых людей.

Это были пленные красноармейцы. Их конвоировали казаки.

Колонна проходила мимо меня. Я остановил одного казака, показавшегося мне благодушным. Винтовка висела у него в руке на ремне, как коромысло; борода заиндевела.

— Это что за люди? — спросил я строго и начальственно.

Мои погони произвели впечатление. Казак замешкался.

— Под Царицыном набрали, — сказал он скучно.

На лицах пленных было выражение голода и тоски. В это крепкое утро мороз одолевал их истощенные тела. Они не смотрели на меня; я был им неинтересен и ненужен. Даже как враг я не привлекал ничего внимания. В этих равнодушных взглядах был только голод и жажда отдыха.

Колонна уже скрывалась в конце улицы; белый покров дороги был растоптан тысячами следов. Я смотрел на черное пятно, которое двигалось все дальше и таяло на сером фоне неба, и мне стало невыносимо грустно.

Я вдруг почувствовал себя одним из них.

Станица просыпалась. Появились прохожие. Кой-где открылись магазины. Женщины, закутанные в большие шали, шли с корзинками и сумками. Заскрипели мимо сани. Где-то мычала корова. Над крышами вился дым.

Все знали, куда они идут и что они делают. Я же стоял неподвижно среди улицы у чьего-то забора и все спрашивал себя:

— Зачем я здесь?

\* \* \*

Есть люди странники; они всегда в движении. Новые места зовут их. Едва присев, они снова в пути. Другие любят неподвижность. Они становятся на землю прочно, чтобы трудно было сдвинуться.

Пересекать дороги было всегда для меня радостью. Я люблю бродить по стране, как люблю перелистывать страницы книги. Но, остановившись даже на миг, я ищу над головой крышу. Небо меня ласкает только на прогулке. Присаживаясь, я хочу иметь под рукой хороший письменный стол. Одеяло и удобная кровать мне милее поэтического сна в плаще на голой земле.

С утра, сейчас же после посещения доктора Астахова, меня занял вопрос о комнате. У Астахова я пробыл недолго. Этот усатый нервный человек — интеллигент чеховского типа, принял мой рапорт о прибытии, точно случайное письмо от неизвестного адресата. На ходу он сделал одним росчерком резолюцию: — „В Народный Дом, д-ру Ветрову, ординатором“.

Я понял, что Нижне-Чирская — отныне моя резиденция.

На углу Семейной и Медовой улицы стояло неуклюжее здание; когда-то там помещались разные просветительные учреждения для народа. Теперь в уютных комнатах были расставлены койки, и на них стонали и бредили люди.

Бритый человек в белом медицинском халате — д-р Ветров — брезгливо жевал губами, пока я ему представлялся. Он взглянул на меня мельком и сейчас же продолжал красным карандашом отмечать что-то в лежавшей перед ним ведомости. Через две секунды он сказал, подняв голову и словно удивившись, что я еще стою:

— Вы возьмете третью и пятую палаты. Там ровно пятьдесят коек.

Полная сестра дала мне халат. Помня о том, что занимало меня, я спросил, не знает ли она где-либо комнаты для жилья.

Она дала мне адрес: полковник Тарасов, Баклановский проспект, № 27. Чин меня не смущал.—Ведь здесь все, должно быть, военные,—сказал я себе.

За невысоким забором виднелся двухэтажный дом. Деревянная галлерейка, опоясывавшая все четыре стены, покривилась от времени и дождей. Голые ветви нескольких деревьев вытягивались почти до крыши. Покоробившийся флюгер рядом с скворешником дополняли нарядность здания. Ребро забора было унизано гвоздями, как небритая щека—волосом.

Как мне объяснила сестра, нужно было подняться на второй этаж. Здесь на стук вышла тощая женщина, с лицом лимонного цвета и пытливо оглядела меня.

— Можно видеть госпожу Тарасову?—спросил я, стойко выдержав осмотр.

Скрипучим голозом она ответила:

— Это я. Что вам угодно?

Комната оказалась подходящей. Через час в ней поместился мой чемодан, на столе лежали книги, полотенце свисало с гвоздя над подушкой. Кнопка придала к стене портрет рыжеволосой женщины. Все было сделано для того, чтобы я чувствовал себя маломальски сносно. Закончив уборку, я испытал всепроникающее счастье:—ощущение крова и уюта четырех стен, окрашенных бело-синей известью.

После обеда я изучал станицу. На низком берегу Дона живописно лепились домики по оврагам и бургам. Нижне-Чирская раскинулась на огромном пространстве. Попадались больше двухэтажные каменные дома, преимущественно казенные учреждения. Они, как скрепы,

высились на углах. Я отыскал Окружное Управление. Телеграфную улицу отмечало здание бывшей женской гимназии, теперь лазарет. В Реальном училище развернулся хирургический госпиталь. Против Епархиального Управления краснели кирпичные стены Интендантства. Пузатые особнячки побогаче врезались в ряды деревянных и мазаных домиков.

Война чувствовалась. Она была даже в этих щеголеватых офицерах на бульваре, высыпавших в вечерние часы ухаживать за женским населением станицы. Назывались они хорунжими, сотниками, есаулами, подхорунжими, а носили френчи на английский фасон, и уже не традиционные шаровары с лампасами, а широкие, пузырчатые галифэ. Только красный кант на фуражках напоминал об их принадлежности к казачеству.

Верещали несмазанными осями груженные подводы. На обозах были мешки, ящики, а на козлах сидели казаки с чубами. У Интендантства растянулся целый табор. Быки флегматично жевали жвачку, лежа на унавоженной улице. Над возами стоял гомон сдачи и приемки.

Еще и еще проводили пленных. Оборванные, иззябшие, они шли покорно, волоча машинально ноги в развалившейся обуви. Встречные уже привыкли к этим процессиям. Частое зрелище ни в ком не будило любопытства.

В трясках телегах провозили раненых и больных.

4.

Обедать я устроился у Авдотьи Анисимовны. Эта сухенькая словоохотливая старушка приняла меня ласково и мы быстро сторговались. В чистенькой комнате стоял стол, накрытый ослепительной белизны скатертью. Направо у стены было трюмо со скошенными отражениями. На пузатом комодике фотографии смотрели своими пустыми глазами. В центре карточек был снимок военного с нашивками. Его осеняла ветка восковых цветов.

Авдотья Анисимовна подала второе. И спросила, одергивая скатерть:

— Вы должны новый будете, проезжий? — Не успеv получить ответ, она сказала: — Много теперь ездют с места на место. И что за беда война эта! Воюют, воюют, а конца не видать. Спасибо Мамонтову, в церкви надьсь обещал в три недели разбойников извести.

Я в свою очередь спросил вежливо:

— Вы одна живете в квартире?

Она живо ответила:

— Нет, здесь у меня живут Михайленко, Кронид Степанович. Тоже из докторов.

В передней зашумели. Хозяйка открыла дверь и вошел какой-то мужчина. Начинающие лысеть виски делали лоб огромным, глаза были черные, маслинками, подбородок же крошечный. Запорожские усы падали книзу. По терминологии конституциологов — это был яркий астеник.

Мы церемонно раскланялись. Он бросил на комод, рядом с портретом под восковой ветвью, судейскую фуражку. В петлице белел юридический значек.

На дворе начало темнеть. Синее небо как будто придвинулось к окну. Ящик скворешника нахохлился под шапкой снега.

После супа, вошедший сказал:

— Вы давно в наших краях?

Я ответил.

— А! Так вы новичек! А у кого вы остановились?

Я сказал.

— У Тарасова? Ивана Ефимовича? Как же, знаю. Мне по делам дознаний приходится с ним встречаться. Он, ведь, начальник окружной милиции. А я следователь. Ничего человек, только сух очень, формалист. Мамонтов его любит.

Второй раз я слышал это имя.

— Простите за наивность, — я, ведь, многого не знаю, — сказал я. — Мамонтов — кто он здесь?

Авдотья Анисимовна поставила перед следователем второе — курицу. Я с наслаждением затягивался папирой.

— Генерал Мамонтов? — протянул следователь, словно удивляясь моему невежеству. — Генерал Мамонтов — это герой Донской армии, командующий восточным фронтом. Он осаждаеt Царицын и не

сегодня завтра возьмет его. Сам он здешний станичник. Когда вы выходите по Линеvной улице на Баклановский проспект, то на правой руке — белый дом с флагом. Это — его. Он — чирянин.

Хлопнула входная дверь. Кто-то в передней топал ногами, сбивая снег. Затем твердые шаги прошли за стеной, удаляясь в глубь комнат.

Хозяйка внесла еще один прибор.

— Скажите пожалуйста, — спросил я. — Почему Царицын до сих пор не взят? Ведь это не крепость.

Следователь усердно обгладывал косточку. Не переставая жевать, он начал объяснять:

— Видите ли, дело в Думенке. Это у большевиков есть такой командир, из простых казаков, но человек безусловной смелости. У него отборная конница. Лошадей они позахватили с конских заводов, с донских зимовников. Кони как на подбор, овса награбленного не жалеют. Вот Думенко со своими молодцами и действует. Казачкам на замученных лошаденках за ним не угнаться. Он появляется то здесь, то там, где его не ждут, налетит, разнесет, а через минуту, пока подойдет подмога, его и след простыл. Это одно. А другое, изволите видеть, — он вытер руки о салфетку, отодвинул тарелку и начал чертить на скатерти воображаемые линии. — Эта точка вот, скажем, Царицын. Здесь впереди, к северу, станция Гумрак; ниже — станция Воропаново. Эти два пункта соединены веткой, по которой курсируют бронепоезда. Сзади Царицына — Волга. Вот и получается так, что и не подойдешь. Да и командующий у них. Ворошилов, — бывший генерал, а выдает себя за рабочего, — хитер и упорен, так как знает, что не сносить ему головы, если попадется. Это немцы его поставили. Вот и приходится нам завоевывать пять за пядью. А сейчас зима, обмундировка у армии неважная. Красным хсрошо отсиживаться в городе, а у нас ведь позиции в чистом поле. Трудно, очень трудно. И вот, при таких-то условиях, Мамонтов подходит все ближе и ближе. Царицын обложен. Его падение — вопрос недели, другой. Бои идут уже у самого Гумрака. Кроме того...

В комнату вошел высокий мужчина. Матовая кожа обтягивала уверенную горбинку носа. Подбородок был

остро срезан. Крупные губы под светлыми усами были красивы. Глаза смотрели холодно и внимательно. Над левым виском выделялось пятно совершенно белых волос, как будто измазанных мелом.

Вошедший широким движением придвинул стул. Авдотья Анисимовна хлопотала около него. Мы познакомились. Это был доктор Михайленко.

На дворе совсем стемнело. Хозяйка внесла лампу. Я почувствовал себя уставшим. Дослушивать историю Царицына мне не хотелось. Я встал и распрощался.

\* \* \*

Я проснулся рано. Сквозь ставни протянулась полоска света, узкая как нить. Дом спал. В тиши деревянным звуком треснула стена или пол. От кафельной печи тянуло остывающим теплом.

Вставать не хотелось. Я вдруг вспомнил кавказский фронт, ущелье, быстрюю реку Ефрат. Когда это было? И было ли? Как все стало непохоже.

Во имя чего я тогда воевал? Я не знал, зачем была та бойня. Это была стихия, а я — только пылинка. И стихия крутила меня. Я даже не чувствовал силы, меня давившей. Потому что весь мир вертелся огненным колесом.

А теперь? Теперь меня принуждала грубая сила. Я не хотел быть с нею. Но она гнала меня вопреки моей воле. Кулак висел над головой и гнал меня.

А если не пойти? Отказаться? Тогда меня уничтожат, раздавят.

Я встал, умылся, пил чай, испытывая чувство пустоты. Наконец, настал час службы.

Лежал снег, несвежий и замызганный. От неуловимого таяния было сыро. Сороки прыгали на черных мокрых ветках, исчертивших небо.

На углу Баклановского проспекта и Гимназической стояло несколько человек с иззябшими лицами. Они вытягивались перед двумя генералами. У одного из генералов, повыше ростом, были длинные усы и бритый подбородок. Три казака с винтовками держались позади.

— Как это вы, русские люди, — говорил басом усатый генерал, — пошли против веры! Против братьев

вместе с разбойниками коммунистами деретесь! Что же вы — дьяволу продались? В бога не веруете!

Плохо одетые люди с синими лицами вытягивали тощие шеи и жались при каждом выкрике генерала.

— Заодно с врагами Христа и православия против русских людей воюете! — наступал генерал. — Власть коммунистов вам больше по душе, чем православная вера. Россию продаете!

Он грозно смотрел на них, а усы шевелились, как две рассерженные змейки. Потом оба генерала твердым генеральским шагом пошли по проспекту. Пленные топтались на месте. Я спросил у казака:

— Это кто был?

Конвоец скользнул по моим поганам. И ответил:

— Генерал Мамонтов.

— Небось из под Царицына набрали? — кивнул я на жавшуюся кучку.

— Из под Царицына. Эти — что! Этих малая горсточка. Сколько побиваются там, страсть сколько. Ну и народу теперь портится!

Казак почесал свою рыжеватую бороду и сплюнул. Ничего воинственного не было в его внешности. Росту сам небольшого, тулупчик не по фигуре свисал разнополо над сапогами. Лицо было простое, мужицкое.

Налетел влажный ветер с запахом талого снега и навоза. Один из пленных косо посмотрел на меня, завернул полу рваной шинели и вытащил из кармана кусок черного хлеба, обкусанного по краю. Челюсти заработали с нескрываемой жадностью.

— Ну, пошли! — закричал другой казак. — Шевели ногами. Нечего прохлаждаться зря!

Они ушли, как будто не заметив меня.

В госпитале была суета. Прибыл транспорт больных. Кроватей не хватало, людей клали на пол.

Я надел халат. Сестра меня сопровождала. Я наклонился, сестра поднимала рубаху, и я слушал сердце, щупал пульс, живот. Потом больного поворачивали. Синякообразные язвы пахнули дурно, до тошноты.

— Пролежни, — говорила сестра. — Ничего нельзя сделать, нет кругов. Как уберечь? Сами видите, доктор, какие тяжелые. Так по месяцу и лежат на твердом.

У одного были огромные впадины глаз. Щеки были — как два хлопавшие по ветру паруса. Из рта шел теплый глинобитный запах. Зрачки лихорадочно смотрели на меня в упор.

— Загоняй, загоняй направо, — сипло сказал он мне. — Вишь, чортовы дети, как забегали. Васька, — сердито сказал он, — бей его из винтовки, чего глядишь, ну...

На безучастном лице заиграла улыбка.

— Казак... вот как вспомнит... на гору... — зашептал он непонятно.

Он бредил еще долго. Я давно отошел от него, — за пятой кроватью еще слышен был мне шипящий, с хрипом, голос.

В низких комнатах свет был тускл. несвежему воздуху примешивался аммиачный запах выделений. С чувством облегчения я кончил обход, когда настал час обеда для больных.

Я вышел в коридор. Сырой свод тянулся, длинный, как подземелье. Двое больных, очевидно из выздоравливающих, стояли у стены и разговаривали. Огоньки папирос вспыхивали. Я прислушался.

— Ума не приложу, как подсобить, — говорил низкорослый. — Слыхал я, что отпускать не будут. Только подкрепишься, опять в часть погонят. Вот беда! Хозяйство совсем изничтожилось. Баба пишет, что хоть пропадать впору — ни телегу исправить, ни худобу прокормить. Что за время окаянное!

Он затыкнулся и выпустил густо дым. Другой сказал:

— Я бы их, идиолов, самих заставил. Чего не поделили, пушай сами и достигают. Двоих родных у меня побили, отец-мать голодуют, а я — вот какая справа. А за что, про что? Я такое вот скажу тебе... — сказал он тише и оглянулся.

Я сделал вид, что не слушаю. Но он, заметив меня, не кончил фразы. Мне показалось, что его взгляд остро сверкнул. Потом пыхтя огоньками, они пошли вглубь коридора.

\* \*

Прошло несколько дней. Морозов уже не было. Погода была таяя, ставни ржаво скрипели. Иногда

к вечеру подмерзало; утрами же липкая сырость висла в воздухе.

Я уже не ходил в Народный дом. Доктор Серебряков, врач окружной больницы, слег от брюшного тифа; в срочном порядке мне предписали исполнять его обязанности.

После чая я спускался по черной от тающего снега лестнице и выходил на проспект. На углу у Интендантства дорога сворачивала налево; через два квартала, сейчас же за плоским мрачным зданием Распределителя, начинался овраг с мостиком. Отсюда я поднимался по широкому косогору и выходил к тюрьме. Это белое строение с черною вязью решеток четко рисовалось на распластанном небе. Оно выросло по мере моего приближения, как будто вставало из земли и мне казалось, что оно сторожит мой шаг. Часовой лениво тулился у ворот.

Затем шли нанизанные на дорогу домики. Над заборами уныло свисали оголенные акации. Там, где кончалась окраина, железная решетка на ребре огромного ската обтягивала в глубине сквозившего сада группу красноватых домиков.

Я толкал калитку и по дощатой дорожке пробирался в больничный корпус.

Меня встречал фельдшер Юрков, похожий на Горького ежеватым волосом и вздернутым широким носом.

— Погода неважная, — говорил он мне обыкновенно одно и то же, какая бы ни была погода на дворе. И помогал стаскивать бекешу. Вообще же ему всегда было холодно, а в политике он оставался, несмотря ни на что, скептиком. — Дров Управление мало отпускает, скупиться стало. Не иначе должно как дела хуже стали на фронте.

Газета, брошенная при моем появлении, валялась на столе.

— А что? — спрашивал я. — Заминка? Неладно под Царицыном?

— Нет, не в том дело, — махал он рукой на газету, — немец плохо помогает. У них там своя каша заварилась, революция. Пропадут они тоже...

Я застегивал халат и начинал обход.

Больница была для гражданского казачьего населения. Мне пришлось заняться земской работой, я был один по всем специальностям, — и для глаз, и для уха, для мужских и женских болезней, и для хирургического вмешательства.

К счастью, до чревосечений не доходило.

К нам присоединялась акушерка Евдокия Викторна и мы ходили втроем, всем синклитом, от кровати к кровати.

После сдавленных полумраков и затхлостью палат Народного Дома эти комнаты казались царством простора и света. Сопровождаемый молчаливой Евдокией Викторновной и угодливо-насупленным Юрковым я казался сам себе выполняющим некое благодетельное и необходимое дело.

\* \* \*

Я вернулся домой поздно. Усталость валила меня с ног. После операции я чувствовал себя совсем разбитым.

У больного за ухом вздулась опухоль. Воспаление паротитной железы разнесло щеку, завернув в бок половину лица. Рот едва открывался. Из-за боли нельзя было принимать пищу. Этот мальчик страдальческим и в то же время радостным взглядом встретил меня. Черные зрачки с надеждой следили за моими движениями. Его знобило. Температура была около сорока.

Но у него анатомически отклонились сосуды, и я перерезал артериальную ветвь, оказавшуюся не на месте. Кровотечение не унималось. Тогда пришлось проникнуть за нижнюю челюсть. Я взволновался и, когда все удачно кончилось, почувствовал себя обессиленным.

Дома я нашел почту. Из Ростова прибыли письма и газеты. Были странички, исписанные мелким почерком; рыжеволосая женщина тосковала. Другие были от друзей. Все строки говорили о любви, о дружбе, о радостях большого города. Я смотрел из окна на улицу. Она была такой серой, грязной. Туман, как гниющая ткань, напознала на деревья и дома. Может

быть, это был не туман, а сумерки. Но и этот час вечера казался разлагающейся тенью.

Пачку газет я читал долго и внимательно. Везде стреляли, со всех страниц доносилась канонада. Победители ликовали, побежденные были угрюмы. О России писали опять то же самое: чернь восстала против культуры. Генерал Краснов защищал цивилизацию и заветы. Было и про Донской фронт, самым жирным шрифтом: „Мы подходим к Царицыну“. Генерал Кельчевский, начальник штаба восточного фронта, обещал, — в интервью, — через неделю въехать в сдавшийся город. Войска восточного фронта — эта была армия Мамонтова.

Я лег на кровать. Мысли становились ленивей. Как в тумане вставали передо мной фигуры, лица...

Я задремал.

В дверь постучали. Я открыл глаза. Была ночь. Я зажег лампу.

Светлые круги легли на потолок. В четырехугольнике двери вытягивалась тощая тень хозяйки. Она сказала своим скрипучим голосом:

— Позвольте вас пригласить сегодня к столу. Не откажите, в честь наступающего Нового Года.

А я совсем забыл о Новом Годе.

До двенадцати было далеко. Я засел за письма. Другим я рассказал о звериной первобытности существования, которая меня одолевала, и о зависти к ним, городским.

Стало легче. Точно было свидание и длинная беседа.

В столовой две лампы освещали комнату и стол, весь уставленный приборами, графинами и блюдами. Дочь Надюша, большеголовая, в кудряшках, передвигала тарелочки, складывала салфетки. Долговязый Михаил, сын и наследник, еще недавно воспитанник кадетского корпуса, сидел в углу над книгой.

Лидия Викторновна, хозяйка, сказала, когда я вошел, со вздохом:

— Времена настали нехорошие. Прежде, бывало, стерляди, икры, всяких деликатесов полон буфет. Чего только не ели. Всего было. А теперь — ничего тонкого. Для закуски сельдь и сельдь. Хорошо хоть муж отыскал окорок первосортный — не стыдно угостить.

В углу пятился пузатый комод. Горка блестела стеклом и чашечками. Низенькие кресла с облезшей обшивкой чинно стояли вдоль стен. Я сказал вежливо:

— Что вы, Лидия Викторовна, у вас стол богатый. И квартира не плохая.

Она прищурила веки, точно пытаюсь увидеть что-то в отдалении. И произнесла своим неприятным голосом, которого не смягчала даже печаль:

— Разве раньше мы так жили? Какая была квартира! А обстановка, мебель. Где все это? И жизнь была другая. Все отняли, проклятые!

— Где же это было? — удивился я. — Разве вы не местные?

Она покачала сухой головой. Мелкие завитки волос зашевелились у висков. Во вздохе была горечь.

— Жили мы в Царицыне. Муж служил там, видное место занимал. Он, знаете ли, хороший человек был, население любило его. Всегда помогал каждому чем мог. Знаете, когда наступил этот ужас, эта самая, ну, революция, сначала бросились к нему, арестовали. За что, говорит он, кому я вред приносил, вы докажете. Ну, конечно, разобрались, потом выпустили.

Я сочувственно двинул плечами.

— Скажите, пожалуйста! — сказал я. — Да, революция многое делала, неразобравшись. А за что арестовали Ивана Ефимовича?

На невыразительном лице хозяйки мелькнуло смущение. Она как-то замялась. Потом стянула губы подобием улыбки. И сказала так, что нельзя было понять, в шутку или всерьез:

— Он... ну, заведывал в Царицыне управлением, ну... этим... жандармским.

И сейчас же рассмеялась:

— Ха-ха... нет, он не служил жандармом. Я пошутила, ха-ха...

Она смеялась с неестественной, деревянной веселостью, а глаза ее напряженно впились в мои глаза.

Я почувствовал себя глупо. Покраснел почему-то. Лицо же продолжало сохранять выражение непроницаемой деликатности.

Пауза однако становилась неудобно длинной. Я что-то пробормотал. — Хлебосольство жандарма. Только этого

не хватало, — мелькнуло в голове. Стыд остро полоснул меня.

Послышался шум в прихожей. И твердые шаги. Пришел Иван Ефимович.

\* \* \*

Несгибающейся походкой Иван Ефимович вошел и занял свое место. При виде меня приветствие, похожее на гримасу, протиснулось в складках щек, тонувших в светлых бачках.

Сели за стол. Я поморщился.

— У меня голова разболелась, мигрень, — сказал я. — Надо уйти...

— Ну, бросьте, — сказал Иван Ефимович. — Я вас сейчас такой настоечкой угощу, что как рукой снимет.

Он встал. Хозяйка цепко вглядывалась в меня.

— Да, да, — сказала она осторожно. — Мы вас не пустим. Вы нас обидите.

Если уйти сейчас, то это, пожалуй, будет похоже на оскорбление. Она расскажет мужу наш разговор. Они начнут сторониться меня, еще наживешь врага. Что я выиграю? Ведь вся станица состоит, вероятно, из подобного человеческого материала. Другое дело, если бежать совсем из Нижне-Чирской. А пока это невозможно, нужно как-то приспособляться. С волками жить...

Так думал я. У меня не хватило решимости уйти сейчас-же. Я остался, но отказался есть, сославшись на недомогание.

Иван Ефимович вернулся с пузатой бутылкой, оплетенной соломой по горлышко.

— Вот, — сказал он бесстрастно, но блестя глазами, — это хранилось в срубе. Я закопал несколько бутылочек, когда пришли большевики. Эту и вот эти две.

Он долго любовался на свет игрой темной жидкости.

Я чуть дотронулся до рюмки. Он выпил одну, потом еще одну.

Румянец пошел пятнами по его восковому лицу. За едой появилась словоохотливость.

Неожиданно он начал рассказывать о приходе красных в округ. Подробности цеплялись за подробности,

он говорил о том, как станичники отбивались, засеив на возвышенностях за дорогой, как ген. Попов собрал офицерский отряд, как их окружили и как они ушли в степи. Это было всего с полгода назад. Большевики шли на них в обнимку, двумя длинными лезвиями, а отряд ускользал, давая бои и взрывая за собой мосты. Потом они пробрались в астраханские земли. А когда начались на Дону восстания, они вернулись.

Затем он говорил о Царицыне. Хороший городок, придется его чистить — должно быть, красные основательно загадили. И вдруг — о каком-то докторе Шапиро.

— Вот уж кого жаль, — сказал он сокрушенно. — Это верно. Хороший доктор, всегда лечил меня, семью. И чего он полез на фронт — видели его, говорят. Ведь войдем в город — плохо ему будет. Ох, как плохо!

Он уставился на лампу и помолчал. Тени полосами легли на нос и щеки.

— Не знаю, — продолжал он, — уцелел ли мой дом. Вы знаете, Лев Семенович, мне предлагают быть градоначальником Царицына, как только возьмем его. Мамонтов просит.

— Ну и что же? — сказал я. — Конечно, берете?

Он задумчиво повертел головой.

— Да нет, право, не хочется. Тяжелая, знаете, обязанность. Много ответственности, а я хоть и стараюсь делать добро, да ведь не все понимают. А хочется всем делать хорошо. У меня натура очень отзывчивая. Вот интересно. — снова вспомнил он, — уцелел ли наш дом? Как ты думаешь, Лидочка?

Хозяйка перестала двигать вилок и ножом и строго посмотрела на Надюшу, ухмыляющуюся чему-то. И встряхнув завитками, сказала сухо и величественно:

— Ну что ж, не будет нашего, возьмем другой. Не забывай, ты будешь градоначальником!

5

Внезапно ударили морозы. Ночью выпал снег. Под ногами звонко скрипело. Станица проснулась нарядная, без грязи и навоза. Солнце рассыпалось тысячами блесток. На нетронутым снегу под деревьями дремали голубые тени.

У Авдотьи Анисимовны появился новый гость, аптекарь Адерихин, Борис Николаевич. Его вызвали откуда-то в Окружное Управление, к окружному атаману полк. Генералову, по какому-то фискальному делу. Судебный следователь же был в отъезде. Его место за столом занимал теперь Адерихин.

Михайленко, жуя, делился последними впечатлениями:

— Вызвали меня сегодня на хутор Кустовской к больному. Приезжаю, а в хуторе — стон стоит. Оказывается, объявлена мобилизация старших возрастов. Ходят старики воинственно, хорохорятся, а бабье за ними голосят.

Мы уже были друзьями, Кронид Степанович и я. Мне нравился этот большой человек с широкими движениями. Врач он был неплохой, любил выпить, смотрел на вещи просто. Женщины любили его, вероятно, за добродушную улыбку сильного зверя. Любовным делам он отдавался по звериному, как ощущениям, как влечению тела, без раздумий, без вопросов. Чувствовалось, что расстанется с ним без слез, без драмы. В его жизни должно быть не было коллизий, не терзали его боль и любовь, и когда я спрашивал его о прошлом, он усмехался, точно хотел сказать: — „сказки все это, мой друг“.

— Груз войны очень тяжел, — сказал я. — Он отличается от всякого другого несчастья неотвратимостью. Что сделаешь, раз приказ? Не откажешься, не сбежишь. Если и скроешься, то это тот же удар по семье, по хозяйству. Все равно разорение.

Адерихин поднял голову и посмотрел на меня. Прищурившись и как-будто вразумляя, сказал он негромко:

— Вы человек городской. Вы не знаете духа казачьего. Надо пожить здесь годы, тогда вы поймете этот уклад, выработанный не одним поколением. Казак — свободолюбив. Он не выносит рабства, или плети. Царская власть это понимала и поэтому казачество имело почти автономию. В сущности верховным главой Дона был атаман. Большевики несут казачеству нивеллировку с прочим населением, не принимая во внимание историю. Это надо учесть. Вот почему идет казак на фронт не с поддельным героизмом, как показалось Крониду Степановичу, а по охоте. И именно старики. Молодежь

развращена европейской войной, да и устала. А старики всем верховодят, они и раздувают кадило. Восстание на Дону кто поднял? Старики. Кто захватил первого председателя областного ревкома Подтелкова и повесил его? Старики. Кто сейчас подпирает фронт и берет Царицын? Все они же. Старики. А что бабы причитают, так это тоже в порядке вещей. Это не значит, что они убиваются от горя. Ведь выдавая дочь за завидного жениха, бабы тоже голосят и льют слезы.

Этот спокойный человек входил в комнату без суеты, незаметно присаживался к столу и бесшумно съедал все, что ему подавалось. Говорил он негромко, не спеша, но с убедительными интонациями и заставлял как-то слушать себя. И все эти слова он произнес мягко, даже певуче, как будто говорил о природе или о сиянии луны. Указательный палец двигался в такт фразе, как будто дополняя и закругляя ее.

— Бросьте, — сказал Михайленко. — Скучная материя. Вы типичные интеллигенты. Чуть наткнетесь на факт, сейчас же разматываете общую идею. Бросьте, кому это надо? Ну, и воюют. Когда драка кончится, тогда и видно будет, кто прав, кто виноват. Лишь бы нас не тянули...

Белесая ночь смотрела в окно, засыпанное снегом. трубе гудел ветер. От кафлей печи тянуло теплом. Выходило в самом деле, что главное это уют, занавески, пузатый комод с фотографиями, салфетки...

Вошла Авдотья Анисимовна и поманила пальцем Михайленко. Кронид Степанович ее не заметил. Он пил вино. Старуха подошла поближе и, лукаво сощурившись, прошептала ему что-то на ухо. Он недоуменно поднял голову. Слегка хмельной взгляд серых глаз был неподвижен... Потом зрачки заискрились. Он встал, шумно отодвинул стул и вышел.

Легкие женские шаги прозвучали за стеной. Я выпил еще стакан вина и тоже собрался.

На дворе была пышная зимняя ночь. Снег хрустел под ногами. Деревья стояли в мохнатых синих шапках. Воздух обжигал лицо. Собаки переливчато голосили за домами на далеких улицах. Сквозь щели закрытых ставней острые, как лезвия, полоски света дробились на кустах палисадныхников.

\* \* \*

На другой день я проснулся разбитый, с болью в висках. В голове, в ногах, в груди ломило. По палатам я ходил раздражительный, молча выслушивал больных и односложно делал указания Юркову и фельдшернице.

— Господин доктор, — доложил Юрков после обхода, — там привезли этих... красных. Совсем никудышные, в тифу. Заслали их к нам понапрасну. Так что велел я их в изолятор положить...

Утопая в снегу, я прошел в изолятор. Маленький флигель горбился за сугробами. Дверь завизжала. В тумане морозного пара я увидел на нарах скорчившиеся человеческие тела.

Лежавшие зашевелились. Темные тени под веками, вокруг запавших ртов, выделяли ужасающую худобу лиц. Носы заострились и синеватые кончики их были еще длиннее над узкой линией спекшихся губ. Потухшие глаза апатично прятались в глазницах. Прогорклый воздух заставил меня поморщиться.

— Двенадцать человек, — сказал Юрков, поднимая очки на лоб и кривясь брезгливо. — Все ихние подвочки. Тоже вояки, — сказал он презрительно.

— Товарищ... — надтреснутым голосом сказал один из лежавших, — товарищ, дайте поесть... Пропадаем... Ни пить, ни есть. Пожалейте... Замерзаем...

Говорившего я не мог разглядеть, он лежал, спрятав лицо в шапку, сползшую до подбородка. В голосе была слабость, беспредельное угасание, как-будто бесильно тухла последняя искра надежды.

— Давно они здесь? — спросил я.

— Третий день. — спокойно ответил Юрков. — Им на завтра выписаны порции.

— Третий день! Да вы с ума сошли! — сказал я. — Я рапорт на вас подам. Без пищи и тепла больных людей морить. Сейчас же затопить печь и накормить всех!

Юрков пожал плечами.

— На них же подано только вчера требование, — сказал он почтительно. — И продукты не выписаны. То, что ворочалось во мне свинцом, прорвалось.

— Не разговаривать! — в бешенстве крикнул я. — Под суд пойдете! Сейчас же выполнить распоряжение! Через час я проверю, чтобы все было готово. Берегитесь, — добавил я, не в силах сдержать прыгающую челюсть, — если я найду здесь их опять в таком виде.

Он сжался. Лицо его стало официальным и деревянным. Я чувствовал, как злоба покидает меня. В наступившем молчании стоны больных стали слышнее..

— И как вам не стыдно, — сказал я уже спокойней, отходя. — Вы носите медицинское звание. Ваш долг помогать больным, защищать. а вы хотите убить бес- сильных. Чем вы лучше большевиков?

Он молчал, как бы спрятавшись за исполнительно безразличной готовностью. Только бровь его однажды шевельнулась. Я понял, что он в этот момент прези- рает меня.

Днем солнце играло на необозримой пелене снега.

Дым поднимался из труб прямо к небу. Вороны протяжно каркали; они походили на черные плоды среди белых ветвей. Даже тюрьма на косогоре вы- глядела добродушной.

Настроение у меня выравнялось. Только усталость после скверной ночи была томительна. Дома я долго валялся на кровати, хотел уснуть и не мог. Надтресну- тый голос, жалкий, как беспредельное угасание, пре- следовал меня.

Я зажег лампу и пошел на хозяйскую половину. Сумерки уже заполняли углы.

У окна Лидия Викторовна склонила свою плоскую фигуру над куском полотна и двигала пальцами. Она вышивала.

— Простите меня, — сказал я вяло. — Не найдется ли у вас газетка посвежей?

Руки перестали тянуть нитку. Она обернулась ко мне своим сухим лицом.

— Пожалуйста, — проскрипела она и скривила губы. Вероятно это означало услужливость. — Вот на столике, в углу.

Я отобрал пачку газет. Это были маленькие листочки в половину обычного размера. Крупными буквами вы- делаясь заголовок: „Вестник Штаба Войск Восточного Фронта“.

Мне было не по себе, одиноко. Хотелось помечтать над газетными страницами о мире, о больших городах, залитых светом, о шуме авто и театров, хоть вообра- жением прикоснуться ко всему чудесному и волную- щему на земле. Вместо этого, в руке были официаль- ные сводки и казенные заметки, донесения, приказы... Но скука томила меня. Я унес к себе „Вестник Штаба Восточного Фронта“.

\* \* \*

Вдруг я почувствовал, что ничего не понимаю. Это была передовица. Я поднял брови и растерянно по- смотрел в угол, словно оттуда должен был притти ответ. В то же время щеки мои вспыхнули. Мне стало жарко и душно.

Я протер глаза и снова прочитал статью. Сомнений не было. Это был призыв к погрому. Настоящий, по тону и смыслу, призыв к истреблению евреев. Голый, как голый кулак, ничем не прикрытый.

Речь шла о Царицыне. Было известно, что город падет не сегодня-завтра. И с каждой строки руководя- щей военной газеты несся крик: „жид!“ Царицынский совдеп, „возглавляемый жидом Левиным“ ломает дома, чтобы „казакам негде было жить, когда они займут город“. Во всем виноваты жида.

Это было для меня совершенно ново. Нас питал „Приазовский Край“; мы воспринимали события так, как нам подсказывали его столбцы. Мир был оваян запахом типографской краски господина издателя Тара- ховского. И мы знали, что казачество-против красного разбоя, за культуру, порядок и безопасность.

И вдруг — жид!

Тогда я перелистал все номера. Везде было одно и то же.

Отдельные места огненными пятнами бросались в глаза.

„Гибель промышленности в Совдепии произошла благодаря неустанной еврейской агитации“. „Свободно чувствуют себя в ней лишь каторжники, головорезы, грабители и разные человеческие отбросы. Неприкосно- венны так же жида и их достояние“. „Даже Ленин арестован жидом Троцким“.

Обзоры военных действий пестрели „жидовскими комиссарами“. „Растреливают священников еврей-комиссары“. „Жида трясут своими пейзами над святыми алтарями“.

Весь изуверский пафос был сосредоточен на Царицыне. Из номера в номер слюна ярости обрызгивала осажденный город. „В Царицыне... председатель Исполкома Левин, не кто иной как жид“.

„По словам перебежчиков Царицынский Совет постановил перед сдачей города казакам взорвать водоканчку и железную дорогу и сбросить в Волгу подвижной состав и броневые поезда“.

Под жирным заголовком „Чего они хотят“ сообщалось: „Постановлено исковеркать все мало мальски сносные жилища, чтобы казакам ничего не осталось. Это уже не война, даже не гражданская. Это безрассудная месть, диктуемая, конечно, жидами, ибо чем хуже будет русским, тем лучше будет им, жидам“.

У меня заломило в висках. Лампа безучастно освещала кучу листов, брошенных на стол.

Я подумал. Что же это будет? „Вестник Штаба Войск Восточного Фронта“ распространяется среди боевых частей. Не сегодня-завтра Царицын ляжет к ногам победителей. Казаки проводят дни и ночи в голой степи, в холоде, озлобленные затяжной осадой. Упорная защита города отрывает их от хозяйства, семьи, от земли. Но кто заставляет их так страдать? Где причина этих лишений?

Им отвечают: конечно, причина есть. Вот она. Это — жида.

Можно ли сомневаться в том, что вступление разъяренного завоевателя будет, ознаменовано Варфоломеевской ночью?

В моих ушах как бы звенели стоны и крики убиваемых и насилуемых. Я закрывал глаза и видел багровое зарево пожаров. Луки крови пятнали улицы. Матери прижимали в агонии к груди трупы детей.

Надо было что-то сделать, сейчас же... Чудовищная истина раскрылась передо мной с внезапностью молнии. Какая дикая нелепость! Я, еврей, в рядах этой погромной армии.

Я понял. Ведь никто там, в Ростове, ни о чем не знает. Даже не догадывается. Там благодушествуют в неведении. Надо разбудить их во что бы то ни стало. И это так нетрудно! Стоит только послать туда несколько номеров газеты. Эта пачка упадет там с грохотом взрыва.

Еще не поздно! Царицын пока держится. Какое счастье несет иногда случайность. Я во время наткнулся на этот „Вестник“ убийств.

Я писал, обдумывал, снова писал. Слова легко складывались в фразы, мне казалось, что из строк брызжет смятение, что буквы вопят. Мое негодование казалось мне обжигающим.

Было уже поздно. Мутная ночь смотрела в окно. Три конверта лежали на столе точно бомбы огромной разрушительной силы, — думалось мне.

Первое письмо — Зеелеру, б. комиссару временного правительства, лидеру кадетов, крупному общественному деятелю. Организованной общественности — первое слово.

Второе — Тараховскому, издателю „Приазовского Края“. Он сам кажется, еврей, слава богу.

Третье — раввину Гольденбергу. Безусловно, он использует все свое влияние.

В каждом конверте — по два номера газеты. Для Тараховского еще „письмо в редакцию“, подписанное мной. Оно называлось „К обществу“.

Ночь начинала светлеть. Уже вырисовывались крыши домов напротив. Лампа потрескивала потухая. Опершись головой на руки, я продолжал сидеть за столом. Я думал, думал, и не мог остановиться. Словно что-то внезапно передвинулось во мне, люди, события, прошлое, настоящее, и то, что будет, — все мелькало в сознании как бы под ослепительными лучами прожектора. От этих статей и писем о евреях разливался для меня свет и на все остальное, на всю эту гигантскую борьбу, делая ее понятной.

Встал день, а сумбур внутри меня еще не улегся. Но в этих хаотических ощущениях, в ворохах мыслей уже проступал стыдом след вины и самоосуждения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.



ОТСТУПЛЕНИЕ.

Рыжеволосая женщина прислала мне письмо, ласковое и полное нежных воспоминаний. — Я ничего не ответил, потому что чувствовал себя пустым, лишенным вкуса ко всему.

Погода снова испортилась. Снег стал крапчатым и бурел на дорогах заплатами грязи. Вороны каркали беспрестанно, и был этот звук предостерегающий и злой.

По станице ползли слухи. На фронте произошла, очевидно, какая-то заминка, и во всем чувствовалась тревога. Обозы, подолгу не разгружаясь, не расседываясь, стояли на площадях, как будто в нерешительности: куда повернуть? Иногда двигались — по ночам — в обратном направлении, не к Царицыну, а к Цымле.

Коренастый полковник с щеткой седых усов показывался на улицах. Низкорослые мохнатые лошадки, по пряничному отвалиясь от коренника, возили окружного атамана из края в край станицы. И глядя на озабоченное краснокожее лицо, прохожие задумчиво качали головами. Щеголеватые сотники и подхорунжие уже не ходили так скученно по бульвару после обеда. С усаженной деревьями аллеи звон шпор доносился теперь сиротливо.

Говорили, что штаб Мамонтова стоит в вагоне, на рельсах, у самой станции Чир.

Все следили за его домом, где жила председательница благотворительных обществ округа — Мария Васильевна Мамонтова.

Мой хозяин стал еще суше и молчаливей. Днем его совсем не было видно. К ночи он приходил сумрачный.

Из своей комнаты я слышал шаги, грубые и громкие, в коридоре. Это подчиненные приходили к нему со срочными докладами. Однажды высокий грузный человек с нездоровым лицом, как будто тронутым водяной, встретился мне в передней. Он держал портфель и почтительной фистулой отвечал высунувшемуся из двери Ивану Ефимовичу. Иван Ефимович коротко ронял слова и глаза у него были злые и пронизывающие.

За обедом Михайленко качал головой:

— Казачки наши портки распустили. На утек пошли. Не хотят драться, — к чортовой матери.

Он вкусно обсасывал кость. Адерихин, еще не уехавший, сказал, как всегда вкрадчиво нанизывая слова:

— Ну, это неизвестно. Скорее приходится склониться к мысли о стратегическом отходе. Казачья сила крепка, она не гнется и не сдаётся.

Кронид хитро стянул бровь.

— Это-то так, — с усмешкой сказал он. — А только чемоданы на всякий случай не мешают увязать.

За столом сутулился бледный человек в очках. Пальцы у него были какие-то женственные, белые и шевелились беспрестанно; изредка он негромким голосом вставлял реплики. В военной тужурке с аккуратными погончиками, застегнутый на все пуговицы, он напоминал мне почему-то товарища прокурора. Это был доктор Серебряков, только что поднявшийся после тифа.

Доктор Серебряков блеснул стеклами очков:

— Это — война, — сказал он не спеша, как бы вдумываясь в каждую фразу. — На войне бывает перевес то на одной, то на другой стороне. Вопрос в главарях. Кто из них будет упорней, тот в конце концов победит. Гинденбург сказал в 14 году: — „победит тот, у кого крепче нервы“. Теперь, применительно к нам, надо сказать: — „победит тот, у кого больше способов заставить подчиняться массу“. Но мне нет дела до главарей и до массы. Я плохо себя чувствую и хочу, чтобы не побеждали сейчас ни те, ни другие. Когда я поправлюсь, тогда можно будет и на Москву двигаться.

Михайленко опустил голову и задумался. Его крупное лицо сейчас, под наплывами тени, было красиво в сумерках потухавшего дня.

Губы провизора укоризненно сдвинулись. Михайленко вдруг встряхнулся и хлопнул по плечу Серебрякова.

— Ну ее, Москву эту — взбудораженно сказал он. — Чего они нас тормозят? Эх, жить бы, к чортовой матери, хорошо, да мирно, да женщин любит, да вино пить. Да тройку, чтоб в глазах засверкало!..

И он широко повел рукой, точно захватывая необъятный простор. В его раскрытых глазах горел восторг.

— А все-таки чемоданы надо готовить, — сказал он вдруг другим голосом. — И о кляченке не мешает позаботиться.

Вскоре стало известно, что казаки действительно обнажают фронт и отходят без давления со стороны неприятеля. Думенко оттеснил осаждающие части от Царицына. Из сводок этих дней мне особенно врезалась в память одна строчка: „Красные банды в большом количестве движутся на станцию Суровикино“. Почему-то представилась ночь, полыхание костров, человеческий голос, звон оружия, гул, песни, и еще что-то смутное, волнующее непонятной и жуткой красотой.

А Суровикино лежало на магистрали Чир — Лихая — Ростов. Значит большевики перерезали единственную железную дорогу. Я был отсечен от Ростова.

Но меня это обстоятельство теперь не очень огорчало. Ибо вместе с ним рассеивался страх о падении Царицына. Было какое-то злорадство в этих мыслях. „Напрасно ты старался, милый друг, — думал я о „Вестнике Штаба Войск Восточного Фронта“. — Не помогли тебе, сынку, собачьи дети, — цитировал я мысленно Тараса Бульбу. — Приходится спасать собственную шкуру. Вот уж действительно, — рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. А кошечка уже не подадеку“.

Я тушил лампу. Темнота бросалась на меня. Из стен выпячивались вдруг окна. Я натягивал на себя одеяло и засыпал.

\* \* \*

Казачек принес пакет. На нем значилось: „совершенно секретно“, а в конверте было приглашение явиться к окружному врачу в 8 час. вечера.

Доктор Серебряков уже вступил в заведывание больницы, а я работал ординатором военного госпиталя в помещении бывшей женской гимназии. Здание на углу Телеграфной и Баклановского проспекта было полно больных, нижний этаж вел доктор Рудков, верхний — был в моем ведении. Опять я ходил между коек, от одной к другой, сопровождала меня тощая сестра, а в руках у нее была пачечка листков. Снова я наклонялся к стонущим человеческим телам, щупал селезенки, выстукивал, выслушивал. Это были тяжелые случаи, с пролежнями, запах гниющего мяса бил в нос. Раскрытые в беспамятстве рты обдавали горячим и дурным дыханием.

В 8 часов я пришел к чистенькому домику Астахова. В аккуратном кабинете за длинным столом сидело несколько человек с озабоченными лицами. Кой-где вполголоса велась беседа. Доктор Астахов теребил бородку и сучил в пальцах бумагу. Я увидел знакомых. Здесь были Михайленко, Серебряков, Рудков, д-р Дилле из распредпункта, хирург Макевнин и другие. Доктор Ветров отсутствовал.

Я подобрался к Крониду Степановичу. У него было усталое, равнодушное лицо.

— Начинается, — сказал он мне беспокойно. — Придется и нам расхлебывать кашу. Разговор об эвакуации, чортова мать их дери!

Председатель, Астахов, застучал линейкой по столу. Шум сдвигаемых стульев поднялся и стих. Затем наступило молчание.

— Господа, — начал Астахов, — военная обстановка требует вывоза госпиталей. Железнодорожное сообщение нарушено. Мною получен приказ окружного атamana немедленно представить список больных и раненых, число подвод для подъема их, а также количество подвод для врачей и их имущества. По распоряжению командующего фронтом ген. Мамонтова все больные и раненые должны быть вывезены. Господа врачи эвакуируются в обязательном порядке. Прошу поочередно высказывать свои соображения.

Итак — эвакуация. Шквал войны снова крутил меня, и я был только пылинкой в движении, ворочавшем с места тысячи людей и города. Только теперь шквал

бросал меня на мелкие проселочные дороги, в грязь, в блуждание по хуторам и степям.

Начали высказываться. Врачи — один за другим — делали выкладки о числе больных и раненых и о размерах необходимого транспорта. Астахов чиркал карандашом цифры. Собрание напоминало мне сдержанностью и сумрачностью консилиум у тяжело больного.

Все было выяснено в течение двух часов. День эвакуации пока оставался неизвестным. Перед тем, как отпустить нас, председатель на всякий случай записал себе в книжку наши адреса.

На дворе была ночь со звездами и неполной луной. Чуть-чуть подмерзло. Лужицы затянулись и трескались под ногой, как стеклянные. Какая-то часть двигалась со своим обозом. Топот сотен ног мешался со скрипом колес. Через два квартала улицу пересекли фуры интенданства. Нужно было остановиться, чтобы пропустить их.

Ставни домов были закрыты, но огоньки светились сквозь щели в каждом окне. Рог месяца нырял над землей. Станица не спала. Огромное движение, безостановочное, невидимое в темноте, наполняло воздух неясным, почти неуловимым шумом, неопределенным, точно это ворочалась и шуршала сама ночь.

Михайленко шел рядом со мной, засунув руки в карманы. В большой шляпе и в шубе он был похож на медведя. Время от времени он сердито сплевывал.

Я сказал ему:

— Что ждет нас в этой эвакуации? Грязь, клопы, вши, теснота. Всюду, куда мы ни придем, наше появление стеснит других и будет создавать ненависть. А я люблю книги, умственный труд и полезную для всех деятельность.

Михайленко оступился в лужу, треснувшую хрустко под его ногой. Он длинно выругался. Потом ворчливо ответил:

— Ты все философствуешь. Тут, брат, надо от смерти спасаться. Придут красные и чикнут тебя так, что не успеешь и пикнуть. У них это без церемоний: раз и к чорту. Ты их заклятый враг, служишь в рядах белой армии. Врач ты, сестра милосердия, или полков-

ник, — все равно — погоны носишь. Нет, брат, надо уносить ноги к чертовой матери, а не философствовать.

Облако засосало месяц. В темноте грубый голос заорал:

— Стой! Куда прешь?

Черная масса заколыхалась перед нами. Я увидел во мраке воз, нагруженный пузатыми мешками и боченками. Его волокли быки. Мы остановились.

За ним показался другой, третий. Покачиваясь на выбоинах, как на волнах, обоз казался бесконечным. Михайленко недовольно запыхтел папиросой.

Из ночи выдвинулась на нас фигура в тулупе. Непомерно высокий торчащий ворот был подперт толстым шарфом.

— Братцы, разрешьте огоньку, — сказал нестрашно тулуп.

Непослушными пальцами, долго ворочаясь в полах и карманах, он свернул козью ножку. Спичка осветила корявое, в оспинах, немолодое лицо. Усы и борода торщились неровными кустиками. Покрасневшие глаза слезились под мохнатыми бровями.

Он затаился с видимым наслаждением.

— Куда двигаетесь? — спросил Михайленко.

— А кто ж его знает, — не спеша ответил возчик. Он снял рукавицу и вытер ладонью усы. — Сейчас идем на Есауловскую, через Генералов хутор.

— А сам откуда?

Казак помолчал, задумавшись. Потом сказал равнодушно:

— Мы — пятиизбянские.

Возы проплывали мимо, грузно скрипя. Иногда слышалось — „Н-но, не балуй“.

— А по охоте идете? — спросил я.

Он живо ответил:

— Какая же охота? Скотину гонишь туда-сюда, никакого отдыха не дают. И на последки заставляют грузить и по ночам. Силком велят. Теперь на Есауловскую, а там може еще дальше. Уж не знаю, ворочусь ли к своему хозяйству. Поиздыхали бы все! — вдруг выдохнул он со злобой и сплюнул.

Последний воз прошел и открыл улицу, теряющуюся сейчас же во мраке. Стуча сапогами по обмерзшей земле, казак побежал догонять свою упряжку.

На углу Атаманской я пожал руку Михайленке. Большой, косолапый, он исчез в серой мгле.

\* \* \*

Утром, по дороге на службу, я проходил мимо интенданства. На площади была суета. Грузились фургоны, на земле были наворочены горы мешков, ящиков, рогожных кулей, боченки, кучи ведер, подков, обмундирования...

Человеческие фигуры выскакивали из складов и пропадали между телегами. Кто-то громко считал: „Сто сорок семь... сто сорок восемь... сто сорок девять...“ Вся площадь шевелилась как чудовище с сотнями отростков. „Онипки-ин! — яростно кричал кто-то. — Куда запропастился, сукин сын? Разбери коней!“

Я пробрался между флегматично дремавшими волами. Шум и гам остались позади.

Днем сумятица стала еще больше. Теперь ясно было и слепому, что обнажение фронта совершается с катастрофической быстротой. Телеграфная улица походила на лагерь. На главной артерии станицы, на Баклановском проспекте, расположился какой-то лазарет. Лошади мирно ели овес из торб. На одной повозке визжал и рвался поросенок, привязанный за ногу.

Жители кучками толпились у ворот. Базар был пуст, а в магазинах — давка. Запасались провизией.

Я возвращался из госпиталя. Картина отступления меня не волновала, словно эта волна, катившаяся назад, не должна была увлечь меня. Чужими глазами рассматривал я эти мелкие подробности войны. Безотчетное ощущение одиночества делало меня равнодушным к окружающему.

На боковой улице было тихо, почти безлюдно. Я шел медленно, отдаваясь печали безрадостного блуждания.

Вдруг из-за дома вышел человек. Он шел четким шагом. Светлосерая шинель открывала при ходьбе красную подкладку. Усы тянулись через щеки и сви-

сали до отворотов шинели. Я узнал генерала. Смушковая папаха его была низко сдвинута на лоб.

Рядом с ним, нога в ногу, шел другой генерал с круглым, свежее выбритым лицом. Он был ростом ниже, но плотнее. Плечи, приподнятые ватной грудью, казались очень широкими. Левая рука на ходу болталась как маятник, в в правой была свернутая в длинную трубку бумага.

Они торопились, обмениваясь короткими фразами. Это были Мамонтов и его начальник штаба Кельчевский. Как я потом узнал, они шли со схода, где поднимали стариков. Сход созвали экстренно, генерал Кельчевский повесил на стене карту и объяснил положение на фронте. Мамонтов произнес страстную речь.

В „Вестнике Штаба Войск Восточного Фронта“ была подробно описана эта сцена. Старики прослезилась Казачья доблесть проснулась. Сход закричал: „Пойдем как один! Не дадим тихому Дону под супостата лечь. Веди нас на врага!“ И постановили: всем мобилизоваться. „Славу Богу,—добавляла редакция,—теперь красные получают достойный отпор“. И приглашала жителей сохранять спокойствие, оставаться на местах и заниматься обычным делом.

Когда я подошел к дому, я увидел во дворе Лидию Викторовну. Она стояла около вместительной подводой. Прислуга Маша и стражник носились по лестнице сверху вниз, таща узлы. Плоское лицо хозяйки еще больше пожелтело. Узкие сухие губы были плотно сжаты.

Пожитки окружного начальника милиции спешно грузились в путь.

\* \* \*

Ночью долго и громко стучали в дверь. Я проснулся и крикнул:

— Кто там?

— Ваше благородие, вам пакет срочный,—ответил кто-то невидимый.

В комнате было темно. На дворе ночь. Я вдруг взволновался. Кровь зашумела в висках. Я искал спички и когда я нагнулся, мне показалось, что кто-то дышит надо мной.

Потом загорелась лампа и все стало привычным: тот же стол, стулья, шкаф в углу.

Я вскрыл пакет. Маленький листок от окружного врача. „Ординатору Фридланду Л. С. Немедленно выезжайте. Направление—станция Есауловская. Явиться к коменданту. Астахов“.

Я стоял полуодетый, с этой запиской в руке. Ехать,— куда ехать? Я не знаю, где эта Есауловская. А на чем ехать? С кем ехать? А вещи? Не бросать же свое имущество. Теперь начнется сборка, укладывание. И все это — немедленно, сейчас же, ночью.

— А лошадь мне прислали?—спросил я посланца,— Ну подводку какую-нибудь?

Он мотнул головой.

— Не.

И добавил, видя мое изумление:

— Куда там! Такое делается—прямо светопредставление.

Я чувствовал себя обескураженным. Как же быть? Уж не остаться ли? Но я отогнал сейчас же эту мысль. Красные вряд ли поглядят по головке за погоны, за службу у Краснова.

„А что же делают другие?—спросил я сам себя. И в то же мгновение я вспомнил о Михайленке.

— Вот что, милый,—ласково сказал я астаховскому курьеру.—Помоги-ка мне снести чемоданчик. Тут неподалеку, к доктору Михайленко.

Мы спустились с лестницы. Начинался рассвет, ленивый и тусклый. Моросило. Пронизывающе дул ветер, влажный и противный. Снег лип к подошвам и сбиался скользкими комьями.

На улице было необычайное оживление. Тянулись подводой, люди шли пешком вдоль домов и по дороге непрерывным потоком. В мутной белесоватости начинающегося дня видны были столы, сундуки, стулья, швейные машины, всевозможный домашний скраб. Лошади методично передвигали ногами и помахивали хвостами, словно они выполняли именно то, что им нравилось. Проходившие кутались в тулупы, шубы, саки, были замотаны в шали, платки, шарфы. Лица казались еще невыспавшимися, еще смятыми складками подушек, но страх уже ползал по чертам, опухшим от сна.

На высоком экипаже рысью, обгоняя других, проехала женщина в шляпке. Она сидела поверх картонок, на руках у нее скулила завернутая в попонку собаченка. Женщина наклонилась к кучеру. Кнут свистнул. Коляска понеслась еще быстрее. Кругом зароптали.

Весь этот поток выливался из проспекта на шоссе.

У Михайленко я нашел и доктора Серебрякова. В комнатах был беспорядок, валялись газеты, из шкафа торчали выдвинутые ящики, на стуле были брошены пиджаки, сорочки. Авдотья Анисимовна на кухне готовила пироги в дорогу. Глаза у нее были заплаканные, с тесно сбежавшимися вокруг морщинками.

Увидя меня с чемоданом, Кронид Степанович выругался.

— Ну как тебе нравится, чорт возьми? — возмущался он. — Для врачей обещали оставить пять подвод, а их с вечера угнали для офицерских жен. Говорят, что весь транспорт для больных взяли под офицерское имущество. Послал я сейчас за одним человечиком...

— Кронид, — сказал я, стоя с чемоданом в руке. — Мне некуда деться. Я пришел к тебе. Делай со мной что хочешь.

Серебряков сидел в шинели за столом и криво улыбался своим бледным, при утреннем свете бескровным лицом.

— Но почему такая спешка? — спросил я, присаживаясь рядом с Серебряковым. — Пушек не слышно, зарева на небе нет, а все мчатся сломя голову.

Михайленко шагал из угла в угол. Он круто с размаха, повернулся ко мне.

— Дурак, красные уже на хвосте висят! Сегодня днем главковерх Хведюк будет уже по Баклановскому гулять.

Я сказал простодушно:

— А как же старики? Они же как один поднялись на врага.

Михайленко вдруг расхохотался. Лоб его разгладился и чудесные зубы засветились крепким рядом.

— Чего же мы ждем? — сказал я. — Трогаться, так трогаться.

С улицы донесся стук копыт. Михайленко прислушался. Хлопнула калитка; кто-то шел по двору.

— Наконец-то Федор, — облегченно вздохнул Кронид Степанович. — А то я уж думал... Забирайте чемоданы, — крикнул он нам.

В комнату вошел человек, по уши закутанный в мохнатую шубу. Он степенно поклонился каждому из нас.

Михайленко подошел к Авдотье Анисимовне и обнял ее. Она заплакала и, держа голову у его груди, стала вытирать глаза уголком головного платка. Кронид поцеловал старуху три раза в щеку.

— Ну, ничего, увидимся, мать, — сказал он ласково, глядя ее рукой по голове. — Опять пироги будем есть.

Старуха безмолвно всхлипывала и сморкалась в концы платка. Михайленко натянул медвежью доху, в которой выезжал на хутора к пациентам. Мы потащили багаж на улицу. Было совсем светло — каким-то странным бозсонным светом.

Уже у калитки Михайленко вдруг остановился.

— Стой! — крикнул он. — Забыли!

И он побежал обратно, оставив чемодан на снегу и путаясь в длинных полах дохи. Я взглянул на часы: было семь. Сквозь решетку забора виднелись телега и лошадь, жующая овес. Справа и слева по переулкам текли к проспекту черными силуэтами жители станицы.

Кронид Степанович вернулся. В руках у него были бутылка вина и три стакана.

— Надо выпить на дорогу, друзья, — сказал он, шумно дыша. Доха его распахнулась. Ему было жарко от бега. — Я за традиции. Это старики умно придумали. Не те старики, другие. Эх, сколько надо алкоголя, чтобы такая дорога показалась сладкой. Ну, пей! — сунул он мне стакан.

Мы выпили. Он взял у нас пустые стаканы и один за другим запустил ими в забор. Стекло, цокнув, с жалобным звоном разсыпалось.

## 2.

За станицей была необозримая пелена снега. Далеко на горизонте одинокие ветлы поднимались, точно сторожа бескрайность пустыни. Над беспредельной равниной стлалось беспредельное небо. Через снежную

белизну из края в край тянулась черная ниточка дороги.

Тотчас же за окружной больницей мы влились в общее движение. Пожитки наши лежали на телеге, а мы втроем шли у колес. Тут же рядом с нами путались четыре гимназиста с винтовками. Это были добровольцы. Один слегка прихрамывал. Большие, не по ноге, сапоги причиняли ему боль, но он старался держаться молодцевато, преисполненный сознанием возложенной на него историей роли. Каждый раз, когда мой взгляд встречался с его взглядом, он делал усилие и выпрямлялся.

Внизу по буграм разбросалась станица. Отсюда домики казались нарядными и чинно жались один к другому как шахматы на доске. Узкие ленты улиц бежали к тускло блестящей ледяной полосе Дона. Золотые кресты церквей горели далекими точками в скудном свете дня. Издали все это, казалось, было обвеяно покоем, тишиной и дремотой.

В стороне от дороги стояло на белой равнине четырехэтажное кирпичное здание. Это была последняя деталь Нижне-Чирской. Зияющие окна и двери смотрели на нас, как глазницы черепа, брошенного в пыль. Черные языки копоти неподвижно лизали голые стены.

Нас обгоняли верховые. Косматые бурки пренебрежительно оглядывали нас с седла. Мы сторонились и всадники удалялись размеренной рысью.

Начал падать снег. Он тотчас же таял. За воротником стало мокро. Мне мучительно захотелось теплой комнаты, кресла у камина, книг и чашку кофе. И я почувствовал вдруг ненависть, неизвестно к кому — острую, обжигающую ненависть, так что челюсти свело судорогой.

Было уж около 12 часов. Вдруг по толпе точно кто то дунул. Лица вытянулись. Все тревожно куда-то вглядывались.

Впереди нашей подводы внезапно образовалась свободное пространство. Те, за которыми мы следовали, заторопились и погнались вперед. Федор оглянулся на нас вопросительно.

— Что за чертовщина! — сказал Михайленко. Он остановился и щурил напряженно глаза в ту сторону,

где должна была быть Нижне-Чирская. — Неужели красные?

Из-за ускользающего края горизонта вытягивалось справа крошечная тень. Она, как чернильное пятно на бумаге, постепенно расплзалась длинным отростком у далеких ветл. Отросток вытянулся в щупальце, забирая все дальше вправо от дороги.

Серебряков протер стекла и аккуратно надел очки на нос. Потом всмотрелся и спокойно сказал:

— Это конница. Но отсюда и не понять, чьи это войска, может быть и Думенко. Во всяком случае похоже на обход.

Беспокойство отступающей толпы росло, уже напоминая панику. Все чаще нас обгоняли на рысях и в галоп верховые и подводы. Гимназисты исчезли. Я видел, как они неуклюже, путаясь сапогами, нырнули в пробогавшую кучку испуганных людей.

На Федора наехал запряженный парой фургон. Возница, громоздясь на козлах, заорал:

— Чего заснули! Сворачивай, туды вашу, закрыли дорогу!

И, нахлестывая лошадей, он обдал Федора потоком брани.

Со мной поравнялся человек, немолодой с козлиной бородкой. Он дрожал в своем тощем пальто, и совсем некстати его невзрачную фигуру украшала фуражка с кокардой на бархатном околыше. Он тянул ногу, как ревматик. В его взгляде на телегу и на Федора была зависть и еще что-то очень жалкое. При каждом шаге чайник, привешенный к узлу на спине, звенел о бутылку с молоком.

Я устроил ему место позади наших чемоданов и мы разговорились.

— Из-за ятя и твердого знака, — сказал он, покашливая. Он сидел на задке, и тощие ноги его в глубоких калошах смешно болтались, как подшитые, между колес. — Не могу я по ихнему закону. Всю жизнь писал и преподавал по-русскому, а теперь, извольте-с, учись новой орфографии. — Он помолчал и добавил, подняв мокрые щеточки бровей. — А не подчиняющихся они расстреливают. Такой приказ от комиссаров.

Между тем тревога улеглась. Это оказались казачьи полки, не желавшие сражаться и уводимые на Юг Области, к Константиновской. Их было много. Так много, что я недоумевал. — „Уйти с фронта, — значит признать свою слабость“, — думал я. Но в этой массе, двигавшейся на фоне далекого неба сплошной стеной, — было столько мощного и устрашающего!

Выглянуло солнце, робкое, поминутно затягиваемое облаками. В немногие мгновенья, когда вверху открывался кусок голубого простора, на землю сразу проливался сноп блистающих лучей. Равнина преобразалась. На бесчисленных буграх сверкал снег. Горизонт становился воздушным. Даль, пронизанная солнцем, дрожала неуловимыми испарениями.

А под ногами жмякала грязь. Подол дохи Михайленко был обрызган выше колен. Мои сапоги, облепленные глиной до ушков, звучно чмокали в такт шагу. Серебряков еле передвигал ноги, еще не окрепшие после болезни. Он часто присаживался рядом с Федором.

Дорога пошла зигзагами вниз. В лощине зачернелись домики. Учитель давно слез.

Когда мы въехали в селение, нам навстречу поднимался боковой тропинкой вооруженный конный отряд. Невоинственный вид всадников бросался в глаза.

Это были старики селения, „поднявшиеся на защиту Дона“.

В два часа дня наша телега остановилась у большого дома, где уже сбились лошади, повозки, пешеходы. Порог был затоптан и измазан. Над дверями, настезь раскрытыми, была прибита кривая дощечка: „Кобылянское Станичное Правление“.

Одинокое дерево свешивало под крыльцом голые ветки.

\* \* \*

В тот же день часам к 10 вечера мы добрались до Есауловской. От Нижнечирской нас отделяло пятьдесят верст. Намокшая днем от тающего снега одежда замерзала коробом. Мы продрогли, были злы и голодны.

Станица тонула во мраке. Каждую секунду под ноги попадались то оглобли, то срубы, то какие-то возвыше-

ния. Повсюду фыркали лошади. Отступающие забили улицы и площади, а в домах были заняты уже все углы и полати.

Почти на окраине пожилая казачка уступила нам со сдержанным гостеприимством заднюю комнату. Четыре голые стены, два больших сундука и несколько табуреток вокруг простого деревянного стола — таково было все убранство помещения, освещенного чадившей керосиновой лампочкой. Язычок пламени красновато мигал.

— Во имя чего, — бурчал брезгливо Михайленко, стаскивая пузырившуюся и трещавшую, как картон, доху, — во имя чего этот троглодитовый образ жизни? Кто за власть советов, кто за власть атаманов — а я за власть комфорта. Пусть бы все валились к чортовой матери, а меня оставили бы в покое!

Я разложил на сундуке бекешу мехом кверху и стянул с себя сапоги. Портфель заменил подушку. Я не успел сказать и двух слов, как все исчезло. Я спал.

День встал солнечный и морозный. За самоваром мы поглощали пироги с давно неизведанным ощущением радости бытия. Имя Авдотьи Анисимовны благоговялось нами не раз. В окно лился сноп света. Мы вспомнили вчерашнее путешествие.

— Это было ужасно, — сказал, поднимая тонкие плечи, Серебряков. — Нас обязали эвакуироваться, но что дали нам для этой эвакуации? О нас даже не подумали. Нас бросили на произвол судьбы. Мы же, как бараны, месили грязь полсотни верст.

Его лицо, разогретое чаем, порозовело. На выпуклом лбу обозначались голубые жилки. Я сунул в рот огромный кусок пирога, едва не разодрав углы губ.

— Это не ужасно, — сказала я, — а просто глупо. Нас бросили — значит мы должны были остаться. Теперь — бесконечное блуждание по грязи, унижительное выпрашивание себе лошади, ночлега и мало ли чего еще. И так будет продолжаться с закономерностью падения камня, пущенного в пространство. Ведь не оставаться же в этой дыре!

Федор, ночевавший тут же с нами, встал и начал кутаться в свою мохнатую шубу. Мы расставались. Он возвращался к себе. Михайленко вынул пачку денег. Федор замотал головой:

— Побойтесь бога, Кронид Степанович, я и так в долгу пред вами. Кабы не вы, не быть жене живой. Куда бы я делся с тремя ребятками? — Он отстранил руку с деньгами. — Премного вами довольны. Поезжайте дале с богом.

Кронид Степанович растрогался.

— Ну пустое. — сказал он мягко. — За доброе слово спасибо. Еще свидимся.

Федор вышел. С сожалением прислушивались мы к удалявшимся шагам. В самом деле, где мы теперь достанем средства передвижения. Все уж, вероятно, расхвачано, до последней двуколки.

После завтрака мы решили заняться поисками начальства.

Есауловская была полна народа и шума. На всех улицах валялась солома, остатки сена, навоза, земля была в черных выбоинах и утоптана, точно ночью здесь был раскинут лагерь. Так оно в сущности и было. Теперь же лагерь поднялся, и все двинулось. Во всех направлениях площадь пересекали обозы с канцелярской обстановкой, домашними вещами, провиантом, и вообще разным смешанным добром. Множество пеших, кучками и в одиночку, попадались на каждом шагу. У меня было такое впечатление, будто одни и те же люди кружатся бесконечным хороводом в пределах улиц, замыкавших площадь.

В общую массу въехало несколько санитарных фур. Рядом с последней шагал человек в военной шинели, несуразно сидевшей на узких плечах. Лицо у него было измызганное от усталости, он растерянно и близоруко озирался. Краснокрестная повязка выделялась на правом рукаве.

Я узнал его. Этого врача я видел летом в Ростове, в Университетской клинике. Он тоже вернулся тогда с Кавказа, и события не пустили его дальше.

При виде меня, он неподдельно изумился. Когда я подошел, он схватил мою руку и потряс ее с радостью и горестью одновременно.

— И вы здесь! Какими судьбами? — крикнул он и, прежде чем я ответил, сказал, поднимая плечи: — Ну, как вам нравится? Веселенькое дело. Чорт бы побрал это всевеликое войско!

— А вы откуда двигаетесь? — спросил я.

Он ответил, сильно жестикулируя:

— Из Рычково. Послушайте, я вам хочу сказать — это же чорт знает, что делается! Там у нас такое оставили...

— Посторонись! — закричал голос за нами. В экипаже на высоких рессорах медленно проехал седоватый полковник с сизе-багровым носом — нижнечирской атаман Генералов. К задку его коляски был привязан большой погребец.

За экипажем размеренно двигался верблюд. Гибкая шея царственно несла морду с широкими ноздрями. Полуопущенные веки делали взгляд животного надменным.

На горбе верблюда сидел военный в высокой барашковой шапке и в пенсне. По длинному лицу с выдвинутой нижней челюстью бежали к подбородку две глубокие мясистые морщины. Человек покачивался в такт верблюжьей поступи.

Мой коллега замер на месте.

— Это начальник санитарной части, — шепнул он, провояжая взглядом необычайного всадника. — Поляков. Разве вы не знаете? О, он очень строгий!

Санитарные фуры уже исчезали в глубине улочки. Смешно подкидывая ноги, доктор побежал в догонку.

Вскоре я увидел в одном окне Михайленко. Он с кем-то разговаривал. Поднявшись на носки, можно было заглянуть внутрь комнаты. У стены стояло несколько стульев, а на них лежали пачки папок и стопа бумаги. За столом сидел офицер. Одной рукой он держал у уха трубку полевого телефона; в другой был карандаш. Он водил им по бумаге и разговаривал с Михайленко.

Я стукнул в окно. Кронид Степанович оглянулся и махнул мне рукой. Потом он вышел в своей дохе с засохшими пятнами грязи, с лицом, выражавшим недоумение и недовольство.

— Новости! — сказал он. — Во первых, ни одной подводы. И никаких надежд. Во вторых, в Чирской все тихо и никого нет. Куда к чортовой матери делись красные — неизвестно.

И он развел руками.

Мы пошли переулочками, заворачивая все в сторону. Михайленко в Есауловской был как дома. Солнце щедро проливалось над землей. Небо было синее и крепкое. Во дворах ржали лошади.

Я остановился и ударил себя по лбу.

— А как же больные? Ведь мы их не вывезли. Кто же будет их там кормить? — спросил я, пораженный этой простой мыслью.

Несколько минут мы безмолвно смотрели друг на друга. На его лице отразилась внутренняя борьба. Наконец, он злобно выругался.

— Я бы перевешал все начальство, — сказал он угрюмо. — Не имеют понятия даже о том, как сдавать родные места. А серая скотинка все стерпит, к чертовой матери!

Он подумал с минуту. Желваки на скулах вздулись под небритой кожей. Затем он решительно тряхнул головой.

— Нет, ты прав, надо возвращаться. Это же безобразия и подлость!

И он пустил многословную матерную брань так, что шедший впереди станичник с коровой на поводу испуганно оглянулся на нас и зашагал еще быстрее.

\* \* \*

Мы условились так. Я иду розыскивать начальника санитарной части и доложу ему о необходимости направить медицинский отряд в Нижнечирскую, а Михайленко добьется согласия доктора Серебрякова присоединиться к нам.

Я снова вернулся на площадь. Теперь она опять походила на бивуачное становище. Обозы расположились табором, быки жевали жвачку, лошади погружали морды в овес. Дымились костры. На перекладинах висели казанцы и варилась пища. Казаки с обветренными лицами подкладывали дрова. В воздухе стоял разноголосый гомон.

— Станичники, не знаете, где штаб остановился? — Подошел я к первому попавшемуся костру.

Высокий казак что-то рассказывал, весело блестя зубами. Остальные одобрительно смеялись.

— ... схватил я, значит, за кожу и дернул с него. Смотрю, а под им — лапсердак. Побелел жидюга весь... Эге, думаю, комиссар в полной форме. Не иначе...

Услышав мой вопрос, он замолчал и все посмотрели на меня. Никто не поднялся. Потом один нехотя процедил: — Не знаем. Про то спросить надо в станичном.

Слово „жидюга“ обожгло меня. Я вспыхнул и... отошел. Что я мог еще сделать? Все, что бы я ни сказал по этому поводу, было бы только смешно и нелепо. И содрогаясь внутренне от оскорбления, которое я ощущал, как удар по щеке, я торопился уйти подальше от смеха, снова рассыпавшегося за спиной.

Действительно, в станичном правлении мне указали местопребывание начальника санитарной части.

Я увидел лошадиный профиль Полякова в обществе других военных. Он чокался с полковником Генераловым. В сизом воздухе серебром блестели погоны.

Я подошел к нему.

— Ваше превосходительство, — сказал я негромко, стоя в полшаге с поднятой к козырьку ладонью. — Разрешите доложить.

Вероятно в моем лице было что-то не совсем совпадающее с тоном подчиненного. Он встал и отошел со мной к окну.

— Что? Что такое? — спросил он поправляя пенсне. Он был выше меня на голову и его длинный остов возносился надо мной. Я видел близко от себя водянистый зрачок, белок глазного яблока с красными жилками и кровавое мяско с сырым блеском в углублении, где сходятся верхнее и нижнее веки.

— По полученным сведениям, — сказал я, отодвигаясь немного, чтобы смотреть ему прямо в глаза, — Нижнечирская не занята. Неприятеля нет даже в окрестностях станицы. Больных, которых не успели вывести, — около двухсот человек; они оставлены на произвол судьбы, без питания и медицинской помощи. Не найдете ли вы нужным приказать, ваше превосходительство, направить туда врачебный отряд?

Он поднял брови. На лбу образовались обезьяньи складки.

— Как? — сказал он недоумевающе — Около двухсот человек? Я ничего об этом не знаю... Мне не донесли.

За столом раздался шум. Седоватый полковник Генералов что-то говорил, стоя и покачиваясь. Бокал балансировал в его протянутой руке.

— ... казачья доблесть.. еще пули свистят... Наш орел Мамонтов... русский народ... злогоглавый крест..., — доносились отрывки речи.

Поляков снял пенсне, протер стекла, снова надел. Лицо его выражало растерянность. Складки щек обозначились резче.

— А я дал сведения в Новочеркасск, что все эвакуированы своевременно. Как же теперь быть? Ведь я в ответе.

Он вдруг побагровел.

— Кто же их бросил? Под суд отдам! Как они смели!?

— Ваше превосходительство, — сказал я, — время не терпит. Надо сейчас же послать отряд с медикаментами. Врачей, фельдшеров и санитаров можно набрать здесь же.

Он в изнеможении опустил на стул.

— Вам хорошо говорить, — произнес он плачущим голосом, в котором слышалась пьяная нотка. — А кто захочет? Разве можно заставить людей лезть в огонь?

Вдруг в лице его что-то мелькнуло. Он взгляделся в меня.

— Голубчик, выручите, — просительно сказал он. — Вы же понимаете, это можно только в добровольном порядке... Не имею права. Да они и разбегутся, не дойдут.

Водянистые глаза, как бы гипнотизируя, уставились на меня. Послышался звон стекла. За столом чокались.

— Я поеду, — сказал я, выдержав паузу. — Поедет доктор Михайленко и доктор Серебряков. Остальной персонал я соберу и представлю список. Я зайду через час за бумагами.

Начальник санитарной части просиял. Он потряс мою руку. Улыбка благодарности оскалила длинные, торчащие вперед зубы.

— Спасибо, спасибо, — сказал он. — Я не забуду, я вас представляю. Э... как ваша фамилия?

Я назвал. Он вытащил блокнот и записал. Я повернулся и вышел.

Ядреный воздух улицы крепко ударил мне в лицо.

\* \* \*

Заложив руки за спину, Михайленко шагал из угла в угол. Серебряков, все время чувствовавший какое-то недомогание, полулежал на сундуке. Бледное лицо его было покрыто красными пятнами. На стене дрожал солнечный луч.

Я задержался на пороге, чтобы усилить эффект сообщения. Оба повернули ко мне головы.

— Ура! — крикнул я. — Мы возвращаемся!

Михайленко холодно посмотрел на меня. Он остановился по середине комнаты, разставив свои большие ноги.

— Нет, мой друг, — сказал он хмуро, — мы не возвращаемся.

Меня точно ударили обухом по лбу. Я заморгал глазами.

— Ехать туда безрассудно, — сказал Михайленко. — Знаешь ли ты, что в Рычково брошен лазарет с больными красноармейцами?.. Ведь раньше, чем попасть в Чирскую, красные займут Рычково. Что же они там увидят? Своих товарищей, замерзших, окоченевших, погибших от голода. Мы встретили одного врача оттуда... Он рассказал нам.

Он остановился. Его взгляд следил за мной, за впечатлением, которое производили эти слова.

— Ты что же думаешь, — продолжал он, — придя в Чирскую и увидев тебя в халате, казачков на кроватях, на простынях, в тепле и сытости, окруженных уходом, персоналом, они поглядят вас по головке? Нет, спасибо. Я еще жить хочу. Я погожу пока лезть в петлю.

Я потер лоб. Было ясно, что меня оставляют одного.

— Вы преувеличиваете, — сказал я спокойно, стараясь быть сдержанным. — Но если даже все это правда, то что же из этого? Мы всегда успеем покинуть станицу перед самым приходом красных, выполнив свой долг. Ведь мы же все таки врачи. Можно ли теперь, когда даже еще и паники нет, оставить на погибель больных, за

которых мы, в сущности, ответственны? Это — трусость, ничем неоправдываемая. Наконец, друзья, мое положение. Я говорил с Поляковым, приказ уже вероятно готов, я не могу теперь отказаться. Да и начальство не позволит. Оно всполошилось. Значит я должен ехать, и вы, — по крайней мере, ты, Кронид Степанович, — меня бросаете одного!

Пока я говорил, Михайленко подошел к окну и стал смотреть на улицу. В спине, в неподвижности головы, как будто одеревеневшей, чувствовалась напряженность, безмолвная борьба. Серебряков лег совсем на сундук и неестественно блестящий взгляд его как бы впивался в мое лицо.

— Есть еще одно обстоятельство, несколько щекотливое, — сказал я, запнувшись. — Мне неприятно о нем говорить, но я вынужен... я не скрою его. Ваш отказ ставит меня в тяжелое положение. Я буду откровенен. Не забудьте, я — еврей. Для вас, конечно, не тайна, каким антисемитизмом заражены казаки. Один „Вестник Штаба Войск Восточного Фронта“ достаточно порабатал для этого. Если я поеду один, этого достаточно будет, чтобы заподозрить меня в желании перекинуться на ту сторону. Ведь все комиссары — евреи, а каждый еврей — готовый комиссар. Меня не спасут никакие бумажки. По дороге любой встречный казак может расправиться со мной. Ты меня втянул, Кронид Степанович, а теперь в кусты. Не ехать же я теперь не могу.

Михайленко быстро обернулся. Белая прядь на виске мелькнула как стрела. На матовой коже лица слабо горел румянец.

— Ничего подобного! — крикнул он. — Мы не бросаем тебя, мы тебя, наоборот, спасаем. Пойми, ехать — безумие. Это на верную смерть. Пойдем сейчас к Полякову и объясним ему положение дел, которого он не знает. Я беру это на себя. Он сам тебя не пустит. Пойдем.

Он подбежал ко мне. Я отстранился. И чувствуя глубочайшее возмущение, я резко сказал:

— Оставь меня. Я еду. Я поеду один. Можете оба успокоиться.

Серебряков продолжал лежать молча. Глаза его были закрыты. Лицо рдело, как будто охваченное пла-

менем. И в наступившей тишине, продолжительной, тягостной, раздался слабый стон. Рука его упала бессильно как плеть.

— Мне дурно, — прошептал он, — мне нечем дышать.

Михайленко поводит головой от меня к нему. Я подошел к лежащему и тронул повисшую ладонь. Она была горяча, как огонь. Тогда одним движением я поднял тужурку вместе с нижней сорочкой.

На коже живота ясно обозначилось несколько пятнышек. Это мелкие точки были окрашены в нежно розовый цвет. Под давлением пальца окраска не исчезла.

Я и Михайленко переглянулись. У доктора Серебрякова был сыпной тиф.

### 3.

Через час все было готово. Я получил от Полякова предписание „с получением сего немедленно отправиться в стан. Нижне-Чирскую для лечения и ухода за оставленными больными и ранеными. Действ. ст. сов. Поляков“.

Другая бумага предлагала „всем станичным правлениям оказывать доктору Фридланду содействие и предоставлять перевозочные средства. Окружной Атаман полк. Генералов“. Жирная печать внушала безусловное уважение.

Я вез с собой двенадцать человек, фельдшера Суровкина и Хлопкина, какую-то сестру милосердия; остальные были санитары, жители Чирской, угнанные паникой и тосковавшие по семьям. В наше распоряжение дали колымагу, полную соломы, и ящик перевязочного материала. В запряжку приладили двух волов.

Поздно ночью мы подъезжали к Нижне-Чирской. Навстречу попадались запоздавшие беженцы. В селении, где я видел на пути к Есауловской мобилизовавшихся стариков, колымагу нам сменили на большой фургон. Две сытые лошадки бежали бодрой рысью.

Я лежал на соломе. Звездное небо опрокинулось надо мной. Копыта дробно выстукивали по мерзлой земле. Монотонное потряхивание баюкало. Я вспомнил почему-то детство, и темные вечера, когда я выбегал во двор и подолгу смотрел вверх, стараясь понять дро-

жащее сияние звезд. Справа и слева около меня, свесив ноги, сидели санитары и фельдшера. Они пыхтели огоньками, вздрагивали в такт подводе и разговаривали тихим шопотом. Из тьмы, через равные промежутки времени, выросли смутно колченогими призраками телеграфные столбы с гудящими проводами.

— Рази ж народ понимает, — говорил кто-то сбоку придушенным басом. — Народ, — он темный. Ему прикажут, он и идет, сполняет приказание. Своих понятий у него нет. Прикажут резать, он режет. А то ему не вдомек, что себя же портит. Лютый стал народ от темноты.

Кто-то чиркнул спичкой. Я скосил глаз и увидел клок заиндевевшей бороды, нос и кусок щеки в морщинах.

— От темноты и от муки, — сказал другой и пыхнул цыгаркой. — Сколько ж его пытали на фронтах, почитай с четырнадцатого году покою не было. Обтерпелся начисто народ, вот теперь и выпускает злобу. Страдали, мол, мы, теперь страдайте вы. Пыхает Рассея огнем — кровью, пушай же, которые не знали голоду-холоду, тоже примут слезную муку. А когда все уравниются, тогда будет другой сказ и лад.

— У нас был мужичек один, — вмешался третий голос. — Ладный такой. Он напрямки объяснял, за что такое все происходит. Будто грамота есть замиряться, бросить войну, землю поделить и друг дружке всякую помощь оказывать. Чтобы, значит, всей громадой, душа в душу. А которые есть люди, супротивники этому...

— Чего басни сказывать, — прервал сурово кто-то. — Какая такая грамота? Видал ты ее? Эх, Фаддей — весь век дуралей. Нам с нашего разуму не понять. Господа бунтуют, а мы в ответе. Вот и весь сказ.

Говоривший сердито сплюнул. Телега подскочила на кочке. Наступило молчание.

— А може и есть, — нерешительно сказал опять третий голос. Он был слегка сиплый и принадлежал вероятно тщедушному казачку с редкой бородашкой и кривыми ногами. — Мне кум сказывал, будто находят.

Дорога стала в темноте куда то заворачивать. Подул ветерок. Мороз начал пощипывать нос, но лежать, не шевелясь, было тепло. Мы как будто спускались по

ребру бесконечной спирали. Впереди стало вырисовываться что-то черное, возносившееся к небу.

— Что об этом спорить, — сказал кто-то, вздохнув. — Как то нас примут в станице. Может прямо напоремся на гостей.

Разговор оборвался. Стало тихо. Все очевидно прислушивались. К чему? Что могло донестись оттуда? Ночь молчала загадочно, таинственно. Ветерок, чуть чуть поднявшийся, опять стих. Не было ни шума деревьев, ни шопота травы, ни шуршащего снега, — ни одного ночного звука. Мы двигались в безмолвной пустоте. Только стук копыт и дробыхание колес сыпались в ночь. Впереди не видно было, сколько ни всматривайся, огонька. Черная масса, закрывая звездную сыпь, медленно шла на нас.

Когда мы подъехали ближе, я узнал сгоревший четырехэтажный дом. Как заснувшее чудовище, проплыл он мимо.

Скоро потянулись заборы, показались темные силуэты домиков. Потом с одной стороны неясно вырисовались очертания деревьев. Вероятно мы проезжали мимо окружной больницы. Впереди, на закруглении дороги, как из земли вытянулась неподвижная тень. Это была тюрьма.

Под копытами лошадей застучало дерево. Мы переехали мостки оврага, и втянулись в станицу. Потом повернули и оказались на Баклановском проспекте.

Станица притаилась. Нигде не видно было огней. На улицах ни души. Собаки не лаяли. Никто нас не встретил, не остановил.

Кучер задержал лошадей на углу.

— Куда ехать? — спросил он меня.

Я сидел в раздумьи. В самом деле — куда? Где приткнуться? На старую квартиру, к Тарасовым? Но их не было, дом, вероятно, заколочен. Да и все равно я туда не пошел бы — противно.

Вдруг я вспомнил Анну Ивановну, квартирную хозяйку доктора Серебрякова. Я видел раза два эту женщину, когда заходил к Серебрякову за книгами. Полногрудая старуха, крепкая, кряжистая, угостила меня однажды чудесным кофе. Владелица большого доходного дома на проспекте, она жила одна оди-

шенька в просторном флигеле, прятаясь в глубине двора. Комнату она сдавала за полной ненадобностью, и затем еще, чтобы иметь в квартире живой человеческий голос. — „Она-то уж, наверное, никуда не двинулась“, — пришло мне в голову.

Я подумал — подумал и велел ехать к ней. Через десять минут подвода остановилась у глухо запертых ворот. Я встал, подхватил чемодан и портфель. Мои спутники, разминая ноги, топтались у колес.

— Ну, друзья — сказал я, — пока все благополучно. Айда по домам. Завтра приходите сюда ко мне рано утром. Если здесь не застанете, идите в гимназию, в госпиталь. Поняли?

В темноте загудели голоса:

— Слушаем... так точно... Это уж обязательно...

Подвода загромыкала удаляясь. Я остался один и принялся стучать в ворота.

\* \* \*

С лампой в руке, Анна Ивановна показалась на пороге гостиной. Лицо, одутловатое от сна, было встревожено. Ее разбудили шум и возня. Андреевна, кухарка, открывшая мне ворота, втащила в переднюю чемодан.

Анна Ивановна посмотрела на меня, как на выходца с того света.

— Вы? Откуда? — спросила она.

— Здравствуйте, — сказал я, улыбаясь. — Хотите нового жильца?

— Да вы как? Совсем?

Я ответил:

— Пока на время. А там видно будет.

— Вот чудеса, — сказала она с тем же удивленным видом. — Ничего не понимаю. Ах, господи! — воскликнула она вдруг и схватилась рукой за капот. — Я-то хороша, совсем раздетая. Ну, вы меня, старуху, простите. Андреевна, самовар!

Я сообщил Анне Ивановне о болезни Серебрякова.

— А меня, — сказал я, — послали сюда к брошенным больным. Вы не слыхали, что с ними?

О больных она ничего не слыхала. Красные не пришли и никто не знал, когда они будут. Войск в станице

не было. Все в тревожном ожидании. Ходят разные слухи, толком же ничего неизвестно.

Пока готовили чай, я умылся и привел себя в порядок. Комната Серебрякова была чистенькая, с занавесками на окнах, на полке вытягивался ряд синих, желтых, коричневых книжных корешков, а рядом с широкой кроватью стояло кресло, просторное и глубокое. Все это показалось мне пределом роскоши. Усталость делала меня сонливым, кровать казалась мне соблазнительной. Но я волновался за участь госпиталя. А вдруг там пусто, все разбежались или же больных развезли неизвестно куда?

Я хотел сейчас же бежать в гимназию. Здание госпиталя находилось не подальку. Я надел бекешу. Андреевна проводила меня до калитки и со стуком захлопнула за мной засов.

Дом, где я работал последнее время, был, как и все дома, темный, глухой, без жизни. Я обошел его со всех сторон. Ночь, казалось, подстерегала мои шаги. Я постучал в дверь. Никто не отозвался. Я постучал еще раз и приложил ухо к дереву. Тихо. Ни шагов, ни шороха. Холод двери обжег кожу. Что делать? Стучать еще? Но так можно переполошить всех.

Я решил подождать до завтра.

Когда я вернулся, самовар был уже на столе. Анна Ивановна успела надеть платье и причесаться. Мы поохали вместе насчет того, какое тяжелое настало время, и она не скрывала, что рада моему приезду. Бог знает, чем грозили ей предстоящие события, а тут, как никак, мужчина в доме. Она тепло пожелала мне спокойной ночи.

Утром я проснулся рано. Женщины еще спали.

Я тихо оделся, прошел переднюю, веранду. Калитка была уже открыта.

Над станицей поднимался туман. Уже встречались одинокие прохожие. Но было необычно тихо.

Я вглядывался в домики, в редкие фигуры встречных, и все было как-то удивительно. Даже снег, казалось мне, по особенному скрипел под ногой.

Дверь в лазарет была приоткрыта. Я толкнул ее и вошел. У вешалки никого не было. Откуда-то смутно

доносились голоса. Потом лестница, ведущая вверх, закрипела, и я услышал громкий полусонный зевок.

Кто-то в халате спускался сверху — должно быть, санитар. В руках у него было больничное ведро — обычная лазаретная картинка.

Это был санитар Семенов. Увидев меня, он сломал зевок, выпучил глаза и застыл.

— Ва... ваше благородие? — проговорил он наконец с тем же обалделым видом. — Да никак вы?

Я засмеялся. Волна непонятной радости поднялась во мне.

— Ну ладно, ладно, Семенов, чего вы уставились так, — сказал я ворчливо. — Ведь я не с того света. Кроме вас есть еще санитары? А сестры есть? А повара есть? А надзирательница здесь? — забросал я его вопросами.

Он поставил ведро на ступеньку, точно собираясь бежать куда то, потом опять схватился за него, опять поставил, наконец с ведром побежал вверх.

— Марь Семенна... Марь Семенна... — зашумел он в палатах. — Их благородие доктор здесь...

Марья Семеновна была надзирательница. Все это поражаало меня. Значит все как-будто на месте, как-будто и не было никакого отступления. Похоже было на то, что сбежали одни доктора. Но какая сила удержала весь этот механизм в порядке? Жизнь очевидно продолжала крутиться по инерции.

Через минуту я был в курсе всего. Белолицая Марья Семеновна не спеша, не изумившись ни моему возвращению, ни моему раннему визиту, обстоятельно доложила мне, что из шести сестер осталось две, что они приходят к восьми часам, так как для дежурства суточного их мало, что санитаров из тридцати восьми человек есть только девять, что поваров — два, что фельдшеров нет вовсе, что доктор Рудков не уехал, так как заболел, вероятно, сыпняком, — что продуктов хватит только на сегодняшний день, а где завтра брать — неизвестно, так как интендантства нет, что топлива есть на неделю, а то и больше, смотря потому, будут ли морозы, что из ста трех человек больных четыре умерло, двадцать один увезено родственниками, а семьдесят два на лицо, что относительно медикаментов — ей ничего неизвестно, так как

это дело сестер, и что больные вообще волнуются, не зная, что их ожидает.

\* \* \*

Я надел халат и обошел палаты. Провожала меня Марья Семеновна. С моего отъезда почти ничего не изменилось. Больные встречали меня взглядами, в которых загоралась надежда. Те, кто был покрепче, оставали меня:

— Не дайте пропасть, ваше благородие... Мучаемся мы... Бросили нас...

И изможденные лица отражали страдание и боязнь. В офицерской палате было восемь кроватей. На низеньких столиках у изголовьев лежали кусочки сухарей, ложечки, температурные листы. Солнце еще не поднялось, и большая комната с несвежими стенами стыла полумраком углов.

Лежавшие зашевелились под одеялами, когда я вошел. Крайний слева повернулся на бок и, с усилием вытянувшись, сел, тяжело опираясь плечами о спинку кровати. Виски запали, обнажая костный шов. Волосы торчали над ушами. Лицо было еще длиннее от острой бородки. Со своими тараканьими усами он походил на больного Дон-Кихота.

— Доктор, — прохрипел он с трудом. — Доложите в дивизию... генералу Гусельникову... я брошен... воды некому подать... издевательство...

Он мучительно закашлялся. Лицо посинело. На щеке, естественно тонкой, вздулись вены. Он бессильно сполз со спинки на подушку.

Из другого угла больной с землистым лицом сказал скребущим голосом:

— Застрелите меня... Я не сплю... я съума сойду... Глаза его горели безумным и страшным блеском.

Рядом со мной раздался негромкий стон. Совсем мальчик, этот больной с опущенными веками шевелил губами, запекшимися до черноты.

Успокойтесь, — сказал я громко. — Вы не останетесь без помощи.

Мы вышли из палаты. На площадке, у лестницы, Марью Семеновну отозвал санитар в белом фартуке. Она внимательно выслушала и развела руками.

— Хлеб весь вышел, — обратилась она ко мне, — что делать?

Наступало с первого же момента самое трудное — поддерживать существование госпиталя. Денег не было ни копейки, в суматохе и сборах возвращения эта подробность была упущена. В самом деле, что будет? Хлеб — это ведь только начало. А потом пойдет остальное.

— Кто поставлял хлеб до сих пор? — спросил я.

— Пекарня Симонова по нашим требованиям. Интенданство потом оплачивало талоны.

— Гм...

Я задумался.

Внизу завизжала входная дверь. Тишина прорвалась шумом голосов, топаньем сапог. Я перегнулся через перила. Свет с улицы, проникавший в дверную щель, падал на взволнованную человеческую массу, наполнявшую раздевальню.

Марья Семеновна посмотрела на меня. Я пожал плечами.

— Надо спуститься вниз, — сказал я. — Не знаю, что это такое.

На самой нижней ступеньке стоял невзрачный кривоногий человек. Я тотчас узнал в нем одного из своих ночных спутников — того самого, который рассказывал про грамоту. Он сорвал с головы шапку. За ним — остальные. Значит, это были вчерашние участники возвращения.

Но откуда их так много? Ведь со мной прибыло только двенадцать человек. Этих же не менее двадцати пяти.

— Здравствуйте, — сказал я кривоногому. — Пришли работать? А это что за люди?

Голоса нестройно ответили:

— ...Примите, ваше благородие...

— ...Послужить желаем...

— ...В ваше распоряжение...

— ...Желательно в санитары...

— ...Податься некуда... как бы греха не стряслось...

Когда несколько стихло, незнакомый бородатый черный казак, похожий на Малюту Скуратова, выступил вперед.

— Так что, ваше благородие, мы касательно госпиталя, — сказал он, тиская в руках шапку. — Станичники определяются в санитары, и нам надоть. Не откажите, ваше благородие.

Опять гул:

— ...Желаем...

— ...Своей волей...

— ...Без силков...

— ...Сами подаемся...

Чернобородый казак опять сказал:

— Бойтся народ насчет дезертирства, что могут без вины пострадать. Опять-таки, ваше благородие, есть слух, что энти придут — и начнут забирать на мобилизацию. А народ послужить желает в санитарях.

Я все понял. Движущие мотивы их поступков для меня не представляли сейчас особой важности. Госпиталю нужны были люди.

— Я вас беру, — сказал я. — Но помните — у нас строго. Служить надо хорошо. Марья Семеновна, — обернулся я к ней, — займитесь ими.

Она кивнула головой. И сейчас же сказала:

— А как же с хлебом?

Не знаю почему, история с набором персонала внушила мне особый взгляд на вещи. Никем не уполномоченный, без прав на то, я принимал людей на службу, и это вышло как будто само собой. Марья Семеновна стояла передо мной в выжидательной позе.

На клочке температурного листка, на обороте я написал:

— „В пекарню Симонова. Отпустить для госпиталя немедленно четыре пуда белого хлеба. Доктор Фридланд“.

В угол бумажки я поставил, дохнув на замшелую гутаперчу, свою личную печать.

\* \* \*

В Народном Доме оказалось около пятидесяти больных, одна сестра и четыре санитаря. Продуктов не было. Опять я написал на клочке бумажки: „В мясную лавку Затеряева. Отпустить немедленно для госпиталя два пуда мяса“. А из Гимназии послал сюда пятнадцать человек персонала.

Днем в раздевальню меня вызвали к высокому мужчине. На узкой шее голова, похожая на птичью, вытягивалась далеко над воротником пальто. Слегка запинаясь, он сказал:

— Э... я... я из распределительного... фельдшер, явился.

Я его принял на службу без дальнейших распросов.

Так приходили в госпиталь сестры, фельдшера, санитары, сиделки, люди всякой профессии, просто для работы, какую дадут. Одни укрывались от будущих мобилизаций, другие — прибивались к нам, оброненные врачабными отрядами, пунктами, лазаретами.

Станица же была без начальства. Власть не осталось никакой, ни высшей, ни низшей. Все это в один прекрасный день, — день отступления, — снялось и исчезло в снежной дали.

Начальства не было, и ничего дурного не произошло. На улицах было тихо, никто не буянил, гул разгрома не вскипал зловещими всплесками у складов, у амбаров. Солнце спускалось с устком золота, вечер наплывал, задумчивый, как подслеповатая старость. Потом падала ночь, собаки брехали, жизнь замирала. И было тихо.

Даже не видно было пьяных.

Самое неправдоподобное — было отношение ко мне торговцев. Требования на обрывках бумаги действовали как приказы, послушаться которых было невозможно. Почему так было? Не знаю. Я не вымогал. Не угрожал. Не настаивал. Я даже не видел тех, к кому обращался. Они не знали меня. Если бы мне принесли отказ, я примирился бы с ним. У меня ведь, собственно говоря, не было даже средства заставить их выполнить мои требования.

Но отказов не было. Пекарь доставлял хлеб, мясник — мясо, зеленщик — зелень, бакалейщик — крупы, вермишель, разные приправы, масло. Все, в чем нуждался госпиталь для питания больных, получалось безоговорочно.

Власти не было. Стечением обстоятельств этой властью, в какой-то части ее, стал я. Должно быть, в э ом и была разгадка. Карающее и охраняющее начальство сгинulo. Сознание этого исчезновения было

мучительно для имущих, для держателей благ и предметов накопления. Строй вдруг повис в пустоте. Никем не поддерживаемый, он мог повалиться каждую минуту. Что тогда будет?

И вдруг — кто-то явился. Кто-то требует, распоряжается. В пустоте прозвучал голос. Это походило на власть. Это обещало порядок. И все эти купцы, лавочники, поставщики охотно признали меня.

Медикаменты мы собрали в покинутых госпиталях, в Распределительном пункте, в Реальном училище. Аптека Бушмана, прекрасно снабженная, выполняла мои рецепты.

В один из этих немногих дней ко мне явился аккуратный человечек с живыми глазами, ему было лет под сорок. Он назвался помощником заведующего хозяйством хирургического лазарета. В ночь отступления сон его был крепок. Когда он протер глаза, солнце стояло высоко, а лазаретное начальство эвакуировалось.

Он боялся двинуться один. Рецидив госпитальной деятельности в станице, появление врача, — вызвали его из небытия. Он явился предложить свои услуги. Я обрадовался и тотчас же произвел его в завхозы.

Фамилия его была — Сотников.

День мой начинался его докладом. В 7 часов утра, когда я еще лежал в постели, где-то осторожно звякал звонок. Проплывала Алексеевна. Падал сдержанно крюк. В прихожей слышались шаги и легкое покашливание. Тогда я начинал одеваться.

В Гимназии я делал обход с сестрой. Марья Семеновна находила меня в 12 часов, где бы я ни был; она протягивала мне на подпись самодельную ведомость с цифрой больных и количеством израсходованных продуктов по графам.

Потом я шел в Народный Дом. Там повторялось то же самое.

В пять часов меня ждал дома обед. Анна Ивановна соблюдала строгий порядок. Установленный час был свят. Заслышав мою возню за стеной, Анна Ивановна кричала:

— Алексеевна, подавай.

И через десять минут стук в дверь приглашал меня к столу.

Алексеевна подавала. Шлепая туфлями, она приносила и уносила блюда с какой-то невозмутимой мягкостью.

— Тишина какая в станице, — говорил я, — ни шума, ни скандала. Вот, Анна Ивановна, кабы всегда так — без начальства.

Она степенно разливала. Темное платье с бантом на груди было сшито не без кокетства. Корсаж крепко обхватывал крупный торс. Вся ее квадратная фигура была спокойна, уравновешена; было в ней что-то упорное, устойчивое, негибкое, как негибкое был весь быт, который не хотел пока сдаваться.

— А вам не страшно? — спрашивал я. — Вот придут красные, отберут у вас дом, обстановку, вас пошлют на работу, как паразитический элемент.

Глаза ее суживались. Она улыбалась, но в глубине зрачков загоралась темная боязнь.

— Что же делать, — отвечала она. — Быть значит этому. Без бога ничего не случается.

И она крестилась. Мне становилось неловко своей шутки. Я говорил:

— Не выдадим вас, Анна Ивановна. В крайнем случае, увезу вас с собой.

— Нет, — отмахивалась она, степенно жуя. — Тут родилась, тут и помру. Алексеевна, подавай второе.

За чаем — опять разговоры. Лампа под широким абажуром бросала неуловимую голубизну на вечерний свет. Мы беседовали о прежних временах, о том, что было до революции, еще до войны; потом о Серебрякове, о его замкнутом характере, о его запоях, об удалстве Михайленко в любовных делах.

— Эх, где-то наши молодцы, — вздыхала Анна Ивановна; лицо ее становилось кирпично-красным, — столько было выпито чашек! Платком она вытирала влажный лоб. — Мытарствуют, терпят небось всякую неприятность. На чужой стороне человеку скверно. А ведь хорошие люди.

— Да, — поддакивал я. — Далеко уже они отъехали. Нашу станицу, пожалуй, не видать оттуда.

Она шумно вздыхала.

— Владимира Николаевича мне жаль. Должно быть, внутренности у него от водки испорченные, вот к нему

и липнет всякая болезнь. Сыпной тиф, ай-яй-яй, — качала она жалостливо головой.

Раздавалось странное жужжание. Потом жужжание переходило в шипение, нарастающее как отдаленное приближение поезда. Потом звон вырывался как выстрел. Это били часы. Они били протяжно, полномерно.

У себя в комнате я зажигал голубую лампу. Она тоже под абажуром, свет у неа родной, мягкий, какой-то диккенсоновский, о чем-то нашептывающий и обещающий. Полка с синими, желтыми, коричневыми корешками книг пряталась в тени, я предвкушал наслаждение той минуты, когда в кресле, свежий, вымытый я погружусь в эти шелестящие вымыслы.

На бюро всегда лежал лист чистой бумаги. Это потому, что мне всегда хотелось написать длинное-предлинное письмо. Кому? Не все ли равно кому? Между мной и теми, кто мне дорог, кого может волновать моя судьба, сейчас грань, более непроходимая, чем море, чем горы.

Я придвигал кресло к столу и брал томик Фенимора Купера. Белый круг света обливал страницу...

На пятый день, поздно вечером, звонок у входа резко задребезжал. Кто-то долго дергал ручку. Алексеевна пробежала через переднюю. Испуганно и сердито она спросила:

— Кто там? Чего надо?

Кто-то вошел. Алексеевна приоткрыла дверь в мою комнату и поманила пальцем:

— Утренник ваш.

„Утренником“ она называла Сотникова за его ранние визиты.

Я вышел. В полумраке прихожей слышалось частое и громкое дыхание, какое бывает после быстрой хольбы. Невысокая фигура Сотникова темнела у косяка. Он шагнул ко мне.

— Лев Семенович, — сказал он взволнованным шопотом, — станицу занимает кавалерия.

Ночь прошла беспокойно. Я часто просыпался и прислушивался. С улицы ничего не доносилось.

Я лежал с открытыми глазами и смотрел в темноту. В молчании но и выростали какие-то страхи и представлялось, как под покровом тьмы вливаются в станицу, оцепляя ее, темные массы под красными знаменами.

Утром Сотников принес подробности. Конница оказалась отрядом полковн. Секретева, одной из Мамонтовских частей. Откуда о и взялись, как попали сюда на пятый день отступления, — Сотников не знал. На всякий случай я приготовил предписание Полякова и сопроводительную Генералова. Могли быть объяснения с новым командованием, наткнувшимся на нас в покинутой станице.

По дороге в лазарет я не встретил ни одного всадника. Улицы были обычны; никакой перемены. Неужели прибытие казаков могло пройти незамеченным, не произвести никакого впечатления на жителей? Не ошибся-ли Сотников? Но когда, после обхода в Гимназии, я пришел в Народный Дом, завхоз встретил меня там и подтвердил первоначальные сведения. Штаб Секретева стоял на Донской улице в доме Ермолаева. Проходя, он видел собственными глазами дощечку „Штаб 2-й Донской бригады“, да одного-двух офицеров у дома.

Отряд-же вероятно, ночью продвинулся дальше.

Весь день я ждал гостей, какого-нибудь посещения, грозный окрик, вызова в штаб. Проходили часы, никто меня не беспокоил, за мной не присылали. Что же означало внезапное появление казаков? Начало победоносного марша? Глубокая разведка? Мне же казалось, что армия отступила за эти дни уже верст на двести.

Но с Донской улицы никто не отзывался на эти вопросы. Вечер приближался. Потом настанет ночь, полная неизвестности, ночь, когда все делается тревожным, мысли говорят о мрачном, а воображение волнуется страхи. Неужели же выжидать?

Штаб не идет ко мне. Хорошо! Я пойду к штабу. Кстати, судьба больных офицеров до сих пор не решена.

Из Народного Дома я свернул в Заячий переулок. Скоро я вышел на окраину. Домики здесь были маленькие, вроде мазанок, и снег густо покрывал крыши.

Заборы были из плетня, подпертого кривыми жердями. Окна покорно и подслеповато провожали меня. Собаки, закрутив хвосты, с неистовым лаем бросались на прохожего. А потом, словно удивившись, замирали на своих мохнатых лапах и молча, долго еще чернея на снегу, смотрели вслед.

Мороз стоял крепкий, гнавший слезу.

На повороте я увидел кусок желто синей материи, трепавшейся по ветру. Древяно было воткнуто прямо в снег у самого крыльца. У ворот валялся тюк пресованного сена. Следы копыт пятнали унавоженный снег. А к дереву была прибита штабная дощечка.

В сенях, привалившись к стене, дремали два ординарца, в тулупах и башлыках.

На звук шагов ординарцы подняли головы. Я спросил полковника Секретева.

Из двери напротив вышел адъютант с пакетом. Ординарцы вскочили и выткнулись. Я подошел к нему, коснулся козырька и повторил вопрос.

— Пройдите, пожалуйста, туда, — показал он вежливо на дверь, из которой вышел. — Иваненко, — сказал он ординарцу, отходя от меня. — Этот пакет срочно доставь.

Квадратная комната с низким потолком была жарко натоплена. По середине стоял стол без скатерти; с одного края кипел самовар и в беспорядке были сдвинуты в сторону стаканы в перемежку со всякой снедью. Почти весь стол занимала карта. Вокруг нея, внимательно разглядывая черточки, точки, линии, сидели три офицера.

— Можно видеть полковника Секретева? — громко спросил я, останавливаясь у порога.

Сидевшие обернулись. Один светловолосый, с умным, как-будто слегка калмыцким лицом, кивнул головой.

— Это я. Что вам угодно?

Я стал докладывать:

— Господин полковник, считаю нужным доложить о нахождении в станице больных казаков, а также офицеров, больных тифом. Офицеров необходимо эвакуировать, иначе они попадут в руки красных.

Полковник откинулся на стуле и, сморщив лоб, спросил:

— Откуда они здесь? Откуда вы сами? Кто вы?  
Голос был мягкий, с сипоткой, точно простуженный. Голубые глаза под светлыми ресницами, не мигая, смотрели на меня.

Я подробно рассказал о госпитале.

— А-а, — сказал он протяжно. — Благодарю вас. — Он встал и подошел ближе. — Но чем я могу помочь? — раздумчиво сказал он. — А вывезти господ офицеров необходимо. Мы здесь только до вечера, может быть до завтрашнего утра. Противник за нами следом. Позвольте, я сейчас переговорю. Присядьте, доктор.

Он вернулся к столу. Между сидевшими произошел обмен репликами. Через две минуты Секретев сказал мне:

— Мы примем все меры, чтобы дать вам транспорт. Хорунжий Ивацкий вас устроит. Оставьте ему адрес госпиталя.

Поклоном он дал понять, что разговор кончен.

В сенях был теперь только один ординарец. Адъютант стоял в стороне и, наклонив слегка голову, слушал невысокого человека. Собеседник адъютанта казался мне знакомым. Говорил он шопотом, точно сообщал нечто чрезвычайно секретное. Лицо же было в тени.

Проходя, я взглянул на него.

От неожиданности я остановился. Это был Сотников, мой завхоз. Я тотчас узнал его.

Зачем он здесь был втайне от меня? И этот шопот. Что за сообщение он делал офицеру штаба? Странные мысли закружились в моей голове. Я вспомнил о случаях доноса подчиненных на старших сослуживцев. И почему-то мелькнуло в памяти газетка „Штаба Войск Восточного Фронта“.

Я продолжал смотреть на него, не зная, что предпринять. Все это длилось одно мгновение.

Вдруг лицо Сотникова просияло. Он увидел меня. Он подбежал и с нескрываемой радостью крикнул:

— Слава богу, я выпросил линейчку для вас и для меня. К вечеру пришлют обязательно.

\* \* \*

Уже совсем поздно вечером к воротам дома Анны Ивановны подъехал небольшой экипаж. Сзади была

крепко увязана корзина. Сидевший в экипажке встал и сказал кучеру:

— Береги, землячок, как бы не утащили. А я тут за одним человеком схожу.

Я стоял в стороне от калитки. В комнатах меня томило нервное ожидание, не сиделось, хотелось воздуха, и я вышел.

Когда Сотников проходил мимо, я тронул его за рукав. Он вздрогнул.

— Я вас жду, — сказал я. — Сейчас я вынесу вещи. Он остался на улице.

Все уже было собрано. Последним взглядом я распрощался с этой комнатой, где прерии и краснокожие герои Купера, мои лучшие друзья, развлекали меня. Только с ними я отдыхал в эти суматошные дни.

Анна Ивановна смотрела у раскрытой двери на предъотъездную возню. На ней было темное платье с бантом. Взгляд был влажный и грустный. Ее, должно быть, все-таки страшило остаться одной перед лицом событий, надвигавшихся неотвратимо.

Я подошел к ней.

— Прощайте, — сказал я бодро. — Будьте счастливы. Спасибо за ласку, за хорошее отношение.

Она прослезилась. Но сказала озабоченно:

— Спаси вас бог. Берегите себя, не заболейте. Вам еще жить нужно.

Алексеевна, подперши кулачком щеку, смотрела на меня с состраданием.

Звезды, дрожа, горели в черном небе. От строений на снег легли черные тени. Каждое углубление в стене было как вход в подземелье. Кругом стояло безмолвие, живое и настороженное.

Откуда-то из под крыльца вылезла Жучка, узнавшая меня. С жалобным повизгиванием, тыкаясь в ноги, собака провожала меня через огромный, как пустырь, двор.

Чемодан лег на корзину, я сел рядом с Сотниковым. Колеса, вереща плохо смазанными осями, затарахтели по пустынному проспекту.

— К утру будем в Кобылянской, — соображал вслух Сотников, — а к обеду в Есауловской. Хорошо бы к ночи добраться до Потемкинской. Там передохнем денек и айда дальше, на Курмояры.

Я молчал. Тоска тупо ныла в груди. Завтра рано утром, по сведениям Секретева, красные займут станицу. Значит, о больных так или иначе позаботятся. С этой стороны я был спокоен, так как большего нельзя было сделать. Иваницкий не прислал транспорта для офицеров; должно быть не было подвод. Это, конечно, уж не моя вина... Но когда я представлял себе картину госпиталя с ворвавшимися красноармейцами, расправу в офицерской палате, у меня захватывало дыхание и росло чувство ответственности и вины.

— Могу ли я остаться? — спрашивал я себя под монотонное таракхтение экипажика. — Конечно, нет. Чем я объясню подобное намерение перед Секретевым? А если нет достаточной причины, то ведь со мной церемониться не будут. Приказ Мамонтова точен и строг. Штаб еще до утра пробудет в станице и этого времени вполне достаточно для короткой расправы надо мной.

Спрятаться же, скрыться, — эта мысль была мне противна. И, в конце концов, бежать от одних, чтобы быть схваченным другими и, может быть, расстрелянным, как прих одень буржуазии, за службу у белых, — тоже не остроумно. Что может быть глупее — самому лезть в петлю. Я все таки хорошо помнил слова Михайленко о Рычково.

И тем не менее на душе было тяжело. Экипаж катился как погребальная колесница.

На углу выросло здание Гимназии. Я поднял голову. В верхнем этаже окна были слабо освещены. „Сестра дежурит, — подумал я, — и ни о чем не догадывается“. И вдруг мне захотелось пойти сказать им, всем, кто меня с такой надеждой встречал каждый день, последнее „до свидания“. Это желание овладело мной с непреодолимой силой. Я вдруг почувствовал, что это невыносимо — покинуть их так, словно крадучись, тайком, как будто я бежал с места преступления.

Я остановил кучера.

— Подождите одну минуту, — сказал я удивленному Сотникову, — нужно дать только дежурной сестре последние распоряжения.

Я позвонил. Мне открыл ночной санитар. Я прошел в дежурку. В дверях показалась сестра, усталая, с кругами под глазами. Я сказал ей, надевая халат:

— Я уезжаю... Я хочу сделать последний обход.

Она взвзлнованно повела на меня глазами. Но ничего не ответила, только стала дышать чаще.

Мы начали с нижних палат. Тяжелые бредили или, раскрыв запекшиеся рты, хрипло дышали. Выздоровливающие, но еще слабые, старались приподняться, чувствуя очевидно что то неладное в этом необычном посещении. Я проходил между рядами кроватей, каждому мысленно пожимая руку.

Как это получилось — я не знаю. Но когда мы поднялись наверх, там уже было волнение. Известие о моем отъезде распространилось.

Пробужденные палаты шумели. Слышались стоны. Мозг, отуманенный тифозным ядом, прорезало ужасное предчувствие. Руки, обглоданные болезнью, поднимались над одеялами, как бы взывая о помощи. Восковые головы шевелились на подушках, словно борясь с злым видением. Блестели глаза, воспаленные лихорадкой и страхом. И шорох, зловещий шорох отчаяния и бессилия, стлался в палате, как туман, полный призраков.

Я чувствовал, что теряю силы. Мои нервы не выдерживали.

Кто-то схватил меня за халат.

— А мы? — стонущим голосом прохрипел больной. — Ваше благородие, куда денемся?

Я мог освободиться одним легким движением. Но мне казалось, что эти высохшие пальцы держат меня с силою клещей. Я положил свою руку на горячую ладонь.

— Вам будет хорошо, — сказал я, напрягая волю, уверенно и спокойно. — Завтра здесь будут другие врачи и вас будут так же лечить и кормить.

Глаза больного пронизывающе смотрели на меня. Он застонал, кривя лицо. Рука разжалась и упала. Крупная слеза покатилась по желтой щеке.

Вдруг странный шум поразил меня. Он шел из палаты, где лежали офицеры. Я услышал как бы стук костяшек и затем в отверстие двери показалось четвероногое существо.

Это был человек. Он слез с кровати и, не в силах держаться стоя, полз ко мне. Его лицо с бородкой

клином, с длинным носом над тараканьими усами, было смертельно бледно и искажено ужасом. Сестра и я бросились к нему, подняли и понесли обратно.

В этой комнате при виде меня поднялось стенанье. Восемь человек, скорчившись, собрав последние остатки сил и сознания, взывали ко мне голосами, полными предсмертной тоски. При слабом свете ночника они жестикулировали, как собрание теней, одетых в саваны.

— Успокойтесь, — сказал я, потрясенный. — Вам не надо волноваться... Берегите силы...

Тот, кого мы принесли, снова поднялся на кровати, длинный и страшный в своей худобе. И задыхаясь, крикнул:

— Возьмите все!.. все наши деньги... У нас много... достаньте подводу... какая жестокость!.. у меня жена... дети... завтра смерть!.. Нас разорвут!.. Одну подводу... Спасите!..

Комната наполнилась стонами. Я поднял руку и сказал:

— Подводу найти невозможно. Вы останетесь. Но вас никто не тронет. Больных не убивают, а лечат. Завтра здесь будут врачи. Кто же вас тронет? Успокойтесь!

Я говорил не то, что думал. Это была неправда... Я, наоборот, был вполне убежден, что эти стены будут свидетелями зверств. Вряд-ли соображения человеколюбия могли смягчить участь белых офицеров.

Но эта ложь была необходима. Правда не принесла бы ни атома пользы.

Из угла голос, пронзительный и хриплый, поднялся как лезвие ножа:

— Неправда!.. Вы сами спасаетесь... вы убегаете, обрекая нас!.. О-о-о!..

И несколько голосов, сливаясь в мольбу, заплакали:

— Не бросайте нас... увезите... Зачем вы нас бросаете?..

Я оглянулся, как бы ища поддержки. Сестра, бледная, с прыгающей нижней челюстью, стояла за мной. У нея был пустой взгляд в сторону.

И я подумал. В одно мгновение, более короткое чем вспышка искры, прошли передо мной начало и

конец решения. Уехать—они погибнут. Но если я останусь, я, быть может, успею разыскать кого-либо из красных врачей раньше, чем все это разыграется. Во всяком случае, я должен принять все меры спасения. Эти люди, которым смерть смотрит в глаза, цепляются за меня в последней надежде. Неужели я оттолкну их? Бегство под эти стоны показалось мне постыдным, невозможным, как пощечина, память о которой будет преследовать всю жизнь.

И вдруг я ощутил во всем этом что-то фаталистическое. События прицепили восемь жизней к моей совести. При таких условиях я не могу уехать. Сама судьба этого не хотела.

— Да нет же, — сказал я громко. — Вас никто не тронет. Ни больных, ни персонал. И... и я остаюсь с вами.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

—

У ВРАГОВ.

Чемодан вернулся на квартиру. Сотников отправился дальше один.

Затем надо было обдумать положение. Времени оставалось мало. Я решил во что бы то ни стало сделать так, чтобы кровопролитие было избегнуто.

Мне пришла в голову мысль — уничтожить прежде всего изолированность больных, это деление на палаты для рядовых и для командного состава. Тогда, — думал я — офицеры растворятся среди остальных. На лицах ведь у них чин не написан. К тому же болезнь нивелирует всех.

Это распоряжение было исполнено с быстротой, изумившей меня самого. Санитары поднялись со сна, ходили около меня, как будто я действительно мог защитить их от любой опасности. Неизвестность тоже пугала их, будущее было темно. Мои указания высекали теперь из их обычной медлительности искры энергии. Офицерская палата буквально в полчаса была рассортирована по обоим этажам, без шума и суеты.

Я сидел в дежурке и слушал доклад сестры о подробностях распределения кроватей. Она держала в руках какую-то склянку и устало шевелила губами, и вдруг совсем внезапно меня осенила мысль, быстрая, убедительная, не оставляющая сомнений.

— Я сделал глупость, — прервал я сестру, зло стискивая зубы. Она от неожиданности присела на стул. — Нашей растасовкой я обратил на офицеров внимание остальных больных. Нетрудно догадаться, что этим перемещением я хочу провести большевиков. Теперь каждый больной будет бояться, чтобы его не приняли

за офицера. Таким образом новые соседи только вызовут к себе враждебное отношение.

Мы сидели друг против друга и молчали. Сестра растерянно вертела в руках склянку. В наступившей тишине, мне казалось, что я уже слышу поднимающийся ропот.

Но сидеть долго в холодном презрении к самому себе нельзя было. Минуты бежали. Я встал и снова пошел в палаты.

Там было тихо. Я вглядывался в лица. Эти глаза, носы, рты, эта изможденность были у всех одинаковым. Отличить низших от высших было невозможно. Но это обстоятельство, только что радовавшее меня, теперь бесило. Оно мешало задуманному мной.

Неожиданно мне бросилась в глаза борода. Тараканьи усы безмолвно шевелились над краем одеяла. Больной офицер лежал притихший, будто прибитый. Соседи его, справа и слева, простые казаки, косились на него молчаливо и, как мне казалось, неодобрительно.

В другой палате я увидел того, кто крикнул мне „неправда!“ Он натянул одеяло на самый нос, так что видны были только безбровые глаза и огненное темя, и сжался. Больной, лежавший рядом, повернулся к нему спиной. И эта поза — теперь я видел ясно — была нескрываемо враждебной.

В дежурке я бессильно опустился на стул. Что же делать? Опять в палату — собирать господ офицеров? И в это мгновение я вспомнил про Широкую улицу.

На Широкой улице помещалась маленькая больничка для гражданского населения, заразный барак. Называлась она бараком, а на деле это был двухэтажный домик с темным, узким, как утюг, двором. Бедняки, сваленные сypняком, находили здесь койку. Я часто проходил мимо этого учреждения, всегда тихого, без признаков жизни. Больные же там были, был и свой фельдшер. Это я знал по слухам, по рассказам. Однажды я увидел дроги, вынырнувшие из под низких ворот; за спиной возницы был гроб, накрытый рогожей.

Сестра тотчас же получила от меня приказание приготовить восемь носилок. Санитары снова бесшумно забегали по палатам. Составили список без обозначения

звания: — фамилия, имя, чем болен. Выходило, как будто это мирные жители. Верхнюю одежду я не велел надевать на больных, а укутать теплее одеялами. На все это должно было уйти около часа. Я надел бекешу, чтобы пойти на Широкую улицу и добиться согласия принять их во что бы то ни стало.

Ни санитары, ни сестра не роптали. Они понимали, что идет борьба за человеческие жизни. Необычная работа вызвана суровыми обстоятельствами — это я объяснил им. Когда я сходил с лестницы, в госпитале уже началось оживление. Помещение было слабо освещено прикрученными лампами. В красноватом полумраке фигуры санитаров в халатах метались, неправдоподобные, как тени.

На Широкой улице мне открыла дверь женщина с измученным лицом. Стучался я долго, настойчиво, и женщина тревожно посмотрела на меня. А потом вышел фельдшер. Этот молодой еще человек с бритой головой, худой, бледный, показался мне только что вставшим после тяжелого недомогания. И тут же я заметил за его спиной молодую женщину. У нее было строгое лицо и гладко причесанные волосы.

Фельдшер поставил ладони козырьком, чтобы рассмотреть меня при свете ночника. Я назвалса. Он сейчас же пригласил меня к себе. В его комнате было чисто, стоял стол со скатертью, висела полочка книг, в углу стояла кровать, в другом — продавленный диван со спинкой. На стене были приколоты булавками портреты Чехова, Успенского, Толстого. Молодая женщина вошла с нами.

Я сказал:

— У меня в госпитале есть несколько тифозных больных. Им в военном учреждении не место. Я обращаюсь к вам с просьбой: — позвольте перевести их сюда. И потом — это нужно сделать срочно, сегодня же.

Он наклонил голову без удивления.

— Пожалуйста, — сказал он просто. — У нас места есть.

Молодая женщина, подобрав под себя ноги, сидела за столом, подперев рукой подбородок. Ее черные блестящие глаза внимательно следили за мной. Она молчала, и это молчание, и блеск ее зрачков почему-то смущали меня.

— Спасибо, — сказал я. — Я был уверен в вашем согласии. Через полчаса вам доставят больных.

На улице я вдруг вспомнил о времени. Вероятно было уже совсем поздно, должно быть около часу.

Мои шаги громко разносились в морозной тишине. На деревьях изредка с стеклянным звуком ломалась ветка. Черные тени разостлались по земле. — „Как тихо, — подумал я. — Все спокойно. А завтра? Для многих эта ночь, быть может, последняя“.

И как будто в ответ моим мыслям, неясный шорох родился в ночи. Я прислушался. Это был далекий топот ног. Он мерно нарастал. На повороте улицы я увидел впереди черную живую полосу. Она скользила вдоль домов. Все ближе и ближе. Я прижался, незамеченный никем, к стене, в углублении под чужими воротами, чтобы пропустить безмолвную процессию с носилками. Последней шла сестра, закутанная в шубу и платок.

Я хотел окликнуть ее, потом раздумал. Зачем? Чем меньше разговора, тем лучше. Пусть этот факт кажется ей заурядным. Я поднял воротник. Последняя тень скрылась за выступом дома. Я проводил ее взглядом и пошел к себе.

Анна Ивановна ждала меня терпеливо за самоваром. Самовар подавался во всех торжественных и необычных случаях. Она была довольна возвращением моего чемодана.

Я наскоро выпил чай, чувствуя себя совершенно разбитым. Глаза слипались. Как сквозь пелену я видел Анну Ивановну, хлопотавшую за столом.

— Ну, идите, — сказала она, — вы совсем спите. А там что бог даст... — И она истово перекрестилась. — Утро вечера мудренее. Отдохните...

Сильный и внезапный стук в ставень прервал пожелания Анны Ивановны. Это было так неожиданно в этот час ночи, что я мгновенно пришел в себя. Глаза Анны Ивановны стали круглыми. Мы переглянулись. И вдруг стук стих.

Но сейчас же кто-то потряс ручку двери на крыльце с таким оглушительным грохотом, точно хотел свалить дом. Анна Ивановна схватилась за сердце. Из кухни прибежала Алексеевна, крестясь и бормоча на ходу.

— Анна Ивановна, — сказал я. — Это пустяк какой-нибудь, ошибка. Я сейчас выясню.

Я думал, что это за мной. Секретевский штаб еще не покинул станицу и, должно быть, вспомнил про меня. А, может быть, и донос. Сотников не внушал мне особого доверия. Через темную прихожую я добрался до входной двери. Кто-то прерывисто и часто дышал по ту сторону ее.

— Кто там? — спросил я.

Взволнованный женский голос крикнул:

— Доктор... Лев Семенович! Откройте скорей.

Это был голос сестры, сопровождавшей офицеров, и в ее выкрике рвалась истерика.

Фигура в шубке и в платке ворвалась в переднюю. Она не могла говорить, стояла и тяжело дышала. Тогда, точно охваченный яростью, я схватил ее за руку и потащил в комнату.

Яркий свет ослепил ее на мгновение. Грудь ее поднималась и опускалась так, что концы платка шевелились, точно колеблемые ветром.

— Говорите же! — закричал я. — Что случилось? — И я неистово потряс ее.

Одним движением она сорвала платок с головы. И открылось лицо бледное, совсем белое в рамке белой косынки, искаженное гримасой ужаса.

— Что вы наделали! — сказала она с выражением отчаяния. — Вы отдали больных прямо в руки большевикам. Этот фельдшер — коммунист. И все они там — из тюрьмы, после тифа для обслуживания тифозных. И они уже знают, — санитары разболтали, — про офицеров...

Она вдруг с испугом посмотрела на меня. Я медленно оседал на стул. И слабея, сам уже не слыша себя, я прошептал:

— Проклятие... теперь поздно... Я не в состоянии... Комната, кружась, поплыла. Тьма закрыла меня.

\* \* \*

Утром голова была тяжелая, как свинец. Я сделал усилие и открыл глаза. Сквозь ставень пробивался узкий луч. Было девять часов.

Я проглотил остывший чай одним глотком, как безвкусное лекарство. Вчерашняя ночь ворочалась в сознании неотступным сном.

Потом я пошел на Широкую улицу. Лестница была темная, ступени кое-где отбиты. От нанесенного снега нога скользила. Через дверь донеслось:

— Матрена, не забудьте молока больше...

Я взялся за ручку. Я не знал хорошенько, что я буду говорить. Просить о сохранении тайны? Но это же смешно! Просто неумно. Это значит устраивать какой-то заговор, заговор большевиков с офицерами против большевиков. Людей, озлобленных тюрьмой, пытаться заставить защищать тех, кто посадил их в тюрьму. Заставить жертву укрывать палача.

Но что же делать? Как делать? С чего начать?

Я толкнул дверь.

Вчерашний молодой человек стоял в халате у окна. В руке у него была бутылка с какой-то жидкостью, которую он внимательно рассматривал на свет. Несмотря на скупой свет, я увидел, что его лицо действительно носило следы недавней болезни.

Он был один. В шкафике у стены виднелись банки разных цветов, с бумажками, надписями, — очевидно, аптечка.

У меня в груди было неприятное ощущение. Немного раздражало то, что я не знал точно, как мне держаться.

Он узнал меня, поставил бутылочку на подоконник и подошел. Я всмотрелся внимательно. Его лицо, лицо коммуниста, ничего не выражало. Из-за стены опять послышался недавний голос, грудной, модулирующий, приятный. „Должно быть та, с гладкой прической“, — подумал я.

— Вчера я направил к вам восемь человек, — сказал я, чувствуя неуверенность в тоне и раздражаясь этим. — Они... э... довольно тяжелые. Вы согласились на перевод. Э... конечно, если бы вы были против, то-есть... — „Не то, не то, я мелю вздор“, — подумал я растерянно.

— Но мы же их приняли, — как бы возражая, протянул он. — Они у нас. Мы о них позаботились.

„Позаботились“. Я искоса посмотрел на него. Хитрит он, что ли, издевается?

— Да, — продолжал я. — Спасибо, вы оказали госпитальную услугу. Но дело, видите ли, вот в чем. Эти больные — военные, занимавшие командные должности. Не сегодня — завтра Красная Армия войдет в станицу. Возникает, понимаете, опасение: не пострадают ли эти больные? Судьба их, конечно, меня не трогала бы, если они были бы в строю, здоровые люди. Но больные — они уже не военные. Они — просто больные. Я думаю, что и для вас, как для лица медицинского звания, они только больные, не зависимо от их политических взглядов и положения. Когда они выздоровеют, тогда другое дело. Пока же, наш долг заботиться о них, как заботятся о врагах, подобранных на поле битвы, раненых, истекающих кровью. Не правда ли?

Он кивнул головой.

— Совершенно верно, — сказал он, с недоуменным видом потирая рукой лоб. — Но мы ведь им и не отказали в приеме...

Я почувствовал, что опять теряюсь. Надо же было, наконец, объяснить ему цель моего посещения. Он держался совсем не так, как я себе представлял, и это меня сбивало. Я решил действовать прямо.

— Я буду откровенен, — сказал я твердо. — Мне передавали, что вы пострадали от казаков. Вы сидели, кажется в тюрьме? И я подумал, узнав об этом, не захотите ли вы мстить в лице этих тифозных власти, преследовавшей вас. И потом...

— Какая чепуха! — перебил он меня, морщась. — Какая нелепость! Как можно так думать! Будьте спокойны, доктор, это вы напрасно.

Его бледные щеки покраснели. Мне же стало неловко. Ощущение стыда смешалось во мне с огромным облегчением, точно у меня с души свалился камень. Мне захотелось извиниться перед ним, сказать ему что-нибудь теплое, ласковое.

— Простите меня, — сказал я, радостно протягивая руку. — Конечно, все это глупости. Простите меня.

Хотя я знал, что красные сегодня войдут в станицу, после разговора с фельдшером я почему-то почувствовал себя спокойнее.

День поднялся высоко. На улицах мне бросилось в глаза оживление. Жители кучками жались у ворот,

переходили от дома к дому, разговаривали, ахали. Два пожилых казака и женщина в тулупе и в валенках, стоя посреди дороги, переминались с ноги на ногу. Я услышал:

— Туча их идет, громадная сила, сказывал тут один. Ну, ничего, нет, не обижают народ.

Женщина ответила, дыша паром на платок, закрывавший рот:

— А придут, разор сделают. Это уж завсегда так. Если не добром, то силком. Особливо женскому полу от них беда. Ну, не балуй! — крикнула она девочке, цеплявшейся за ее подол и вертевшейся во все стороны.

Казаки степенно разгладили бороду.

— Ничего, Пелагеюшка, не бойся. Ежели с ними ласково и они ласково. Так каждый человек. Хуч он и большевик, а душа, как никак, православная. А что супротив бога, — это с баловства.

Везде были такие разговоры. Какая-то новость распространилась по станице.

Анна Ивановна встретила мой приход повышенной деятельностью у буфета. Ее взволновало мое отсутствие. В столовой сидел человек с огненно-рыжей бородой и тонким, как будто сдавленным с боков носом. Алексеевна внесла яичницу. Я набросился на завтрак с жадностью волка.

— Иш вы, — сказала Анна Ивановна сочувственно, — проголодались-то как. Дело у вас очень беспокойное, Лев Семенович, характер надо иметь крепкий к нему. Ну, все уладили? — спросила она с улыбкой, догадываясь о благоприятном исходе. — Вот, Митрич, время, — обратилась она к рыжему человеку, — не приведи господи. Докторам и то покою нет.

Митрич кашлянул в руку.

— И не говорите, Анна Ивановна. — сказал он почтительно. — Татарское время. Намедни говорю я Васюке: — „Вася, завтра запрягай мерина с утра, надоть съездить к Анне Ивановне, маслица ей отвести“, — так он фыркнул и говорит: „чего на завтра загадывать, завтра, может, и не доедем“. Вот оно время-то. А я думаю себе: — „нет, поехать надо, как же это Анна Ивановна без маслица будет?“ А вы где в докторках-то будете? — повернулся он ко мне.

Я сказал. Приятная теплота разливалась от желудка по всему телу. Зайчик проник в комнату и прыгал по скатерти, по буфету, по стенам. Огненная борода умиляла, сам Митрич выглядел милым, смешным. Он выслушал и меня почтительно.

— Да-с, — сказал он и покачал сокрушенно головой. — И народ ноне тоже валится, прямо страсть. Проезжаю я надесь мимо школы на Каланчевской площади, а через окна видать — наложено в ней больных тьма. Сильно маются. А которые уже померли.

Он замолчал. Мне же эти слова показались странными. Я не понимал — о какой школе шла речь. И как только я над этим задумался, что-то беспокоящее вдруг прошло по сознанию, словно тревога только и ждала этого момента, чтобы зародиться. И сейчас же испуг, безотчетный, смутный, еще не оформившийся, шевельнулся во мне. Я насторожился и перестал есть.

— Больные в школе... больные в школе — повторял я про себя, стараясь вспомнить что-либо про эту школу на Каланчевской площади. Ничего не получалось. Я впервые слышал о ней.

Несмотря на полное неведение относительно школы, успокоение не приходило. В этой неизвестности мне чудилась какая то опасность. В глубине какого-то изгиба мозга ощущение чего-то грозящего ворочало мысль.

— Нет, — говорил я себе, глядя на налитой профиль Анны Ивановны и острый нос над огненной бородой Митрича. Они спокойно беседовали между собой о коровах, о меде, об отрубях. — Нет, надо продумать эту новость. Военный госпиталь и его отделы — я знаю. Один был в Народном доме, другой — в Гимназии, третий — Распределительный пункт; в Реальном — Хирургическое отделение. Затем — окружная больница. Затем — на Широкой улице. Вот и все. Откуда же взялась эта школа? Откуда? Странно. Позвольте... неужели... пленные?

И тотчас же, прежде даже, чем я успел сообразить что-либо, мне стало ясно, что это именно так. В самом деле. Должен же быть здесь где нибудь лазарет для пленных, для этих сотен и тысяч, что проходили через станицу. Ведь сыпняк косил их с безудержной свирепостью!

— Нет, — опять сказал я себе. — Этого не может быть. Не может. Пять дней я в станице. Неужели мне не дали бы знать? Какая чепуха! Нет этого не может быть. Но как бы то ни было, надо сейчас же выяснить, что это за школа. Ведь красные близко.

— Митрич, — сказал я ему так, как будто знал его уже годы. — Пожалуйста, поедете со мной к этой школе, покажите, где она. Кстати у вас и дрожки есть. Только надо поскорей, сейчас же. А то как бы не было несчастья.

Анна Ивановна величественно посмотрела на краснобородого.

— Митрич поедет, — сказала она тоном, не допускающим возражения. — Он человек уважительный.

Митрич конфузливо повел уголком губ.

И мы поехали.

\* \* \*

Серая лошадка мерно бежала по проспекту. Потом повернули на Телеграфную. Народу все пребывало. И все шли в одну сторону, по направлению к полю, которое виднелось в конце этой прямой, как линия, улицы. Митрич то и дело кричал бойко:

— Посторонись! Задавлю!

В одном месте улица раздалась. От нее, в глубине, направо и налево открылись переулки, потом — площадь, похожая на огромный пустырь. Посредине было одноэтажное здание казенного типа. Митрич натянул возжи и дрожки стали заворачивать к зданию. На фасаде косо висела облупившаяся зеленая вывеска с полустертой надписью: „Нижне-Чирское Приходское училище“.

Вдруг Митрич, не доехав к зданию, остановил лошадь.

— Эге, — сказал он, указывая кнутовищем. — Никак солдатики.

Далеко впереди было как широкое полотно поле, над ним — небо. Я напрягал зрение. В этой дали ничего не было видно: ровная муть светло серела. Должно быть, глаза у Митрича были рысьи. Я попросил его подъехать ближе к околице.

Последние домики станицы стояли розрозненно, как стая воробьев на снегу. Шевелились кучки обывателей,

то плотно сбиваясь, то редая. Стоило комунибудь проронить слово, как все тотчас жались к говорившему и прислушивались.

— Н-но, сторонись! — кричал Митрич, въезжая в толпу. — Вот они господин доктор, — сказал он останавливаясь.

Поле растилалось бесконечным снегом. На горизонте смутно что-то вырисовывалось, как пятно сквозь масляную бумагу. Все головы были повернуты туда.

Кто-то сказал деловито:

— Подходят к Дону. Должно, мосты будут мостить. Ближние оглянулись и теснее придвинулись к сказавшему. Один с усмешкой сказал:

— Тю мосты. Это же зима, дурак, а не лето.

Первый замялся, потом обиженно возразил:

— Ишь, умник выискался. Артилерия тебе лед прошибет. Для ей везде мост нужен.

Кругом одобрительно зашумели:

— Дядя Роман правый... Артилерия беспременно прошибет... А как же?

Я с волнением смотрел на этот кусок неба, такого спокойного, такого далекого и невозмутимого. В нем скрывался кусок истории. Я как будто ощущал ход надвигающейся судьбы. Оттуда придет новый мир — и овладеет нами, всей нашей жизнью, нашими делами, досугом. Хорош он или плох — это другой вопрос. Но он перевернет все по своему.

Вдруг я вздрогнул. Я вспомнил школу. Нельзя было теперь терять ни минуты. Надо же узнать, наконец, в чем дело. Я тронул Митрича за рукав.

Здание приходского училища поразило меня вблизи своим запущенным видом. Выступы стены в разных местах были отбиты, от деревянных частей торчали отставшие куски. Во многих окнах не было стекол. Груды щебня и кирпича валялись повсюду. Не ошибка ли это? Может ли такой дом быть жилым? Я толкнул дверь. Она завизжала, как будто бы я причинил ей боль. Передо мной открылся коридор, холодный, с запахом загнившей воды. В конце его была еще дверь. Я открыл ее и остановился на пороге.

Человеческие тела валялись на полу. Другие сидели, опираясь на стенку и вытянув ноги. Их было много,

они устилали всю комнату. Между сидевшими и лежавшими видны были остатки желтой соломы, похожей на навоз. Окна зияли провалами. Не было ни одного табурета, ни одной кружки. В углу сломанная печь рассыпала кирпичи. Было холодно, как на дворе.

В воздухе, душном от человеческих испражнений, стоны раздавались, как вздохи умирающих.

Я нагнулся к одному телу, лежавшему у самой двери, длинному и неподвижному, у моих ног. Я тронул руку. Она ответила мне холодом льда. Я повернул голову; стеклянные белки со сморщенным зрачком тускло посмотрели на меня. Это был труп. Я разжал ладони и голова стукнулась о пол точно деревянная колода.

В эту минуту послышались шаги.

На пороге другой комнаты показался человек. Он с трудом передвигал ноги, гнувшиеся под тяжестью тела. Не замечая меня, он шел держась за стену. Его взгляд уткнулся в пол, потом он сделал несколько шагов, медленных и неуверенных, в сторону и нагнулся около одного из лежавших. Худые пальцы, похожие на хищные когти, вылезли из рукавов шинели, ушли в кучу соломы. Они шарили. Человек этот искал. Тот, другой, рядом с ним был неподвижен. Он был мертв.

Прошла минута. И наконец, человек нашел. Он вытащил кость, на которой еще сохранились обрывки мяса, и урча, как зверь, поднес ее ко рту.

— Кто вы? — спросил я хрипло. — Как вы сюда попали?

Он вздрогнул. Увидев меня, он нахмурился. Глубоко запавшие глаза сверкнули на лице, заросшем пучками волос и свинцово-пегим от грязи.

— Он ее ел, когда был живой, — сказал он глухо, прижимая кость к груди. — Теперь она ему не нужна. Я ни у кого не отнимаю.

Звук живой речи привел меня в себя. Я подошел к нему. Он был ужасающе худ. От него распространялось зловоние.

— Вы получите сейчас пищу, — сказал я. — Откуда вы?

Его взгляд стал осмысленным. Упоминание о пище воодушевило его. Grimаса голода пробежала по лицу.

— Дайте кушать, — жадно и жалобно сказал он. — Я жлобинец. Здесь много наших. Мы попали в плен под слободой.

Сомнений не было. Я наткнулся на лазарет для военнопленных. В остальных комнатах было то же самое, — мертвые вперемежку с живыми. Умирающие коченели рядом с теми, кого пощадил кризис. Кто уцелел от тифа, тот погибал от голода. Другим приносила покой стужа. Это был дом обреченных. Жестокость трусости обрекла их.

Я не думал уже о возмездии красных. Меня потрясло это зрелище смерти и страданий, еще непревзойденных ничем, виденным за все время, что я провел на фронте двух войн. Воспоминание о кости, обсасываемой с волчьим урчанием и украденной у трупа, жгло мозг.

Я торопил Митрича изо всех сил.

В лазарете было сдержанное волнение. Санитары шептались с растерянным видом. О том, что красные подходят, все знали. Я вбежал к Марии Семеновне.

— Сейчас же созовите весь персонал! — крикнул я.

Она сидела за листом бумаги и выписывала какие то цифры. — Бросьте ваши дела. Ни секунды промедления! — крикнул я. — Ну, идите же!

Не спрашивая меня ни о чем, она поднялась. Сейчас же послышались ее распоряжения. На лестнице началась беготня.

Как быть? Что предпринять? Забрать сюда больных из школы? Ах, это было бы самое человеческое! И спасительное, вдобавок. Ведь стоит первому красноармейцу подойти к окну дома на Каланчеевской площади, как наша участь будет решена. Но как забрать сюда из школы всех? Это невозможно. Нет мест, нет людей, нет носилок в таком количестве. Что же делать? Ведь и оставить их так тоже нельзя.

За дверью топанье ног усилилось. Марья Семеновна вошла и сказала с тем же ошеломленным выражением, с каким выходила:

— Собрала всех, сколько есть.

\* \* \*

В косом луче дрожали миллиарды пылинок. — Это мы, мы все, — думал я, глядя на пляшущие точки. — Нас тоже движет сила, о которой мы не знаем. Сейчас тут будет еще десяток пылинок, которых я позвал, и я заставлю их сейчас носиться вместе с собой.

Комната сразу наполнилась. Санитары теснили друг друга, все старались держаться у стены. Большинство смотрело с неопределенным выражением: „Позвали, а зачем не знаем. Воля ваша“. Марья Семеновна закрыла за последним дверь.

Я встал. Нужно было говорить. Но я не знал, какие найти слова, чтобы потрясти этих людей. — „Впрочем, — подумал я. — Нужны ли слова? Ведь все ясно.“

— Господа, — выдавилось у меня из горла, ставшего вдруг неподатливым. Я никогда не ораторствовал. — „Господа, я должен вас предупредить, сказать правду — плохо нам будет. Да, это так. Только-что я нашел дом, наполненный больными. Но в каком они состоянии! Их никто не кормит, не лечит, они валяются на голом полу, многие умерли. Около них нет ни врачей, ни сестер, ни санитаров. Знаете, кто эти больные?“

Я сделал паузу и обвел всех взглядом. Раскрыв рты, наклонив головы, вытягиваясь вперед, меня слушали внимательно. Кто-то кашлянул. На него оглянулись с осуждением и заикались. „Дьявол, — проворчал кто то, — глотку чистить в такой-то час“.

— Это пленные, — сказал я громко. — Понимаете, — пленные большевики. Сейчас красные войдут в станицу. Если они увидят своих товарищей в таком виде, нам не сдобровать.

К чернобородому, похожему на Малюту, санитару, ближе всех стоявшему ко мне, прижался рябой кривоногий мужичек. Оба смотрели мне в рот. На лицах появилось выражение испуга.

— Теперь я прямо заявляю вам: кто хочет, может бежать. Только спасаться уже поздно. Есть один выход. Надо сейчас же бросить все и нести туда тюфяки, перины, метелки. Согласны ли вы на это? Вы сами понимаете, что все это нужно сделать в один момент. Мне некогда подгонять вас.

Марья Семеновна, бледная, громко ахнула. Как будто только дожидаясь этого сигнала, санитары вдруг загалдели. Передний чернобородый, оттеснив рябого, повернулся к другим и сказал что-то. Рябой прислушался и одобрительно потряс головой. И все, бородатые, высокие, низенькие, черные, русые, заговорили разом.

— Не шумите! — крикнул я. — Отвечайте: да или нет?

Марья Семеновна шагнула ко мне. — Да что вы спрашиваете, господин доктор? Разве надо спрашивать? Прикажете, а мы выполним.

Поднялся гул. Голоса всплескивали, путались:

— Беспременно...

— ...Рази ж кто насупротив себе...

— ...Надо всем миром...

— ...Нешто не понимаем, надо без промедлений...

— ...Никто себе не злодей...

— ...И противу других не злодей...

— ...А как же иначе...

Я махнул рукой. Сразу стихло.

— Слушайте же! — повелительно крикнул я. — Самое большее через час школа на Каланчеевской площади должна исчезнуть. Больных надо накормить, напоить. А потом заняться переводом в Реальное училище. Если нехватит людей, взять из Народного дома. Марья Ивановна, распорядитесь...

Вдруг у двери произошло замешательство. Затопали ногами, кто-то шумел. Все головы обернулись. Сквозь толпу метнулось что-то огненное. Это была борода Митрича. Я оставил его на улице, где он ждал меня вместе со своими дрожками.

— Господин доктор! — сказал он громким, на всю комнату шопотом, пробираясь ко мне и расталкивая толпившихся. — Господин доктор, они здесь, в гошпитале.

Пронесся мгновенный шорох. И все застыли. Марья Семеновна остановившимися глазами уставилась на Митрича.

— Все пропало, — с тоской подумал я.

## 2.

К воротам госпиталя подошли три солдата с винтовками на плечах. Мигрич, сидя на дрожках, увидел их. Пока он бежал ко мне, те через двор прошли на кухню и попросил и поесть. Это были красные разведчики.

Здание Гимназии опустело. Санитары и сестры с дымящимися ведрами супа, с буграстыми караваемы рыжего хлеба, с метлами, с тюфяками, ушли на Каланчеевскую площадь. В палатах остались только дежур-

ные, да одна сестра. Солдаты на кухне, сидя в стороне, мирно ели кашу. Выяснив это, мы с Митричем поехали опять в Приходское училище.

Миролюбие патруля меня не успокоило. — Он, вероятно, пришел не той улицей — думал я. — Но главная масса пройдет по Телеграфной, и тогда все свершится. Красные не ягнята. За зуб они вырвут целую челюсть. Вопрос в том, кто раньше — мы или они. Конечно, если санитары подойдут раньше, может быть, как-нибудь и образуется. Вид людей, хлопочущих вокруг их изможденных товарищей, может, пожалуй, изменить настроение победителей. Конечно, нам всем попадет, но, быть может, не так здорово. Только вряд-ли, — сказал я себе с сомнением, — мы опередим их.

На углу Телеграфной и Останкиной сгрудилась толпа. Еще издали я увидел над подвижной линией голов лошадиные морды с свисающими концами красных лент в гривах. Лошади фыркали и перебирали ногами. Всадники с короткостволками за плечами возвышались над толпой и переговаривались с окружающими. Их обветренные, крепко стянутые морозом лица, освежались вдруг улыбкой, и тогда глаза добродушно поблескивали под низкими козырьками шапок.

— Остановят или не остановят, — думал я с замиранием сердца, подъезжая все ближе и ближе. Я сделал безучастное холодное лицо, косясь уголком глаза на человеческую кучу. — Вот сейчас они заметят меня. Да как и не заметить? Погонов нет, я их предусмотрительно снял, но вид, бекеша, фуражка — военные. Вдобавок раскатывает на дрожках. Прямо — начальство, так в глаза и бросается. Ясно — остановят. — „Вы кто будете?“ — „Доктор“. „А, доктор. Ах туды твою, такой сякой... Доктор, а наши подышают в навозе. Бери его, буржуя сытого“...

Меринок перебирал копытами по крепкому снегу. Митрич, распустив красную бороду, с любопытством таранился на верховых. Мы поровнялись с толпой. Я затаил дыхание. Вот они уже за спиной. Что это? Никто не спросил, не задержал. Никто даже не обернулся на нас. Взгляд одного из конных скользнул по нас — и все. Дрожки, громяхая на смерзшихся кочках, несли меня дальше.

Через два квартала, на углу Епидифоровской, я услышал глухой гул голосов. Шум этот долетал из боковой улицы, от станичного правления. Самого здания правления почти не было видно. Оно было облеплено людьми, взобравшимися на все выступы, возвышения, заборы. Кто-то, поднявшись над головами толпы, шевелился и размахивал поднятой рукой. В минуты, когда наступала тишина, вырывались и метались в морозном воздухе слова, слишком далекие, чтобы быть различимыми. Кто-то произносил речь.

Мне захотелось подбежать ближе. Я задержал Митрича. Он натянул вожжи, я соскочил с дрожек и разминая ноги пошел к правлению.

Шевелились спины; овчинные полушубки, шапки, папахи, шубы, тулупы образовали ограду, которая закрывала говорившего. Я подобрался к огромному тулупу, пахнувшему сыромятиной, и втиснулся между ним и буркой. Впереди, как я ни тянулся на носках, виделся мне только край покато сбегавшей побуревшей крыши и кусок неба в голубых просветах. Резкий голос звенел взволнованно и властно:

— ... Никогда не удастся генералам и помещикам раздавить рабочих и крестьян... Революция несет всем трудящимся счастье и свободу. Мы пришли к вам не для грабежа, как старается уверить вас офицерство... Помещики и генералы добиваются пролития братской крови... От имени победоносной Красной Армии я заявляю, что жизни мирных жителей ничто не угрожает...

Все неподвижно, изредка шевелясь, ловили звуки, замиравшие над безмолвием толпы. Вытянутые головы отражали напряжение слушателей. Смутное чувство поднялось во мне. В пафосе этого голоса было что то, что заражало. Я изо всех сил потянулся, стоя на цыпочках, и увидел скуластое молодое лицо с горящими глазами.

— Товарищи! — хлестнуло по воздуху. — Солдаты Красной Армии это — защита трудящихся...

Толпа ловила каждое слово. Около меня старый казак с слезящимися на морозе глазами наклонил голову и шевелил беззвучно губами. Другой, трубкой приложив к уху ладонь, не мигая смотрел на говорившего. Все, очевидно, старались за ясными, понятными фразами

учуять скрытый смысл, то, что могло обещать им либо успокоение, либо угрозу.

— Станичник, — толкнул я соседа. — Это кто же будет? — указал я на говорившего.

— Ихний командир, — ответил старик, даже не взглянув на меня.

— Что же это такое? — отъезжая, думал я. — Где же разгул, выстрелы, кровь? Неужели я, мы все ошибались? Впрочем, ведь это только первая встреча. Посмотрим, что будет дальше.

\* \* \*

Нижне-Чирская была занята частями Красной Армии. Через станицу проходила пехота, громыхали высокими колесами пушки, похожие издали на гигантских кузнечиков, тянулись обозы, санитарные линейки. Войска очевидно не оседали здесь, а направлялись дальше, потому что на улицах попадалось очень мало солдат, имевших бивуачный вид.

Ни в день прихода, ни на следующий день в госпитале ничего не изменилось. Все шло обычным порядком. Я появлялся в Гимназии на утреннем обходе, делал распоряжения, потом уходил в Народный дом. Заканчивался служебный день в Реальном училище, куда были перенесены больные с Каланчеевской площади.

Так же, как прежде, я подписывал требования. И без возражений, без вопросов торговцы продолжали отпущать продукты. Выходило, что новая власть сама по себе, а мы — госпиталь с отделениями, больные, санитары, сестры, администрация, торговцы — сами по себе и никого это не касается и не трогает. Никто к нам не заглядывал и не беспокоил нас.

Я предоставил событиям идти естественным ходом. — „Меня не спрашивают, — говорил я сам себе, — чего же я буду лезть? Ну и пусть... Там видно будет“.

Я был вполне спокоен. Уже чувствовалось, что нет, не будет, не может быть никаких эксцессов. Больных офицеров не поведут на расстрел. Это все чепуха. Я был теперь убежден, что подобный случай немислим. И таким же смешным и глупым казалось мне ночное метание между Гимназией и Широкой улицей.

— А со мной, — думал я, — что со мной будет? Объявят должно быть военнопленным и отправят куда-нибудь в глубь России. Что же еще сделают?

Мой оптимизм ни на чем, в сущности, не был основан. Я еще никого не видел, ни с кем не говорил. Но было что-то неуловимое в деталях этих дней, что делало мою уверенность непоколебимой.

Магазины и лавочки были открыты и торговали бойко. Покупатели — солдаты — наполняли эти помещения так, что продохнуть нельзя было. Торговцы спускали всякую заваль по ценам, которые им не снились. Красноармейцы же набрасывались на все с нерассуждающей жадностью. За все платили, не торгуясь. Денег у каждого было в изобилии. Ведь на Дону обесценение кредитных знаков шло значительно медленнее, чем в Советской Республике. Поэтому цены прибывшим казались баснословно низкими.

В этот второй день улицы уже жили обычной жизнью. Женщины ходили от лавочки к лавочке; телеги, неизвестно откуда взявшиеся, скрипели; казаки, надвинув на уши шапки, ходили кто-куда по своим надобностям. Иногда проносились верховые с донесениями. Иногда перекатывались, не спеша, на ногах обуви в валенки, празднующиеся красноармейцы, по-двое по-трое, без винтовок, — очевидно из нестройной команды.

С утра потянул низовой ветер, и погода вдруг переломилась. Сыровой теплыней пошло над станицей. Снег стал вязкий и побурел, а в непрохожих углах, под окнами, за палисадниками, был весь источен капелью, как червоточиной. Ставни запотели. Посреди дороги, в колдобинах, сбежала в ямки вода, ржавая, цветлая, навозная. Прелью понесло в воздухе. Казаки оттащивали шапки назад, к затылку, выворачивали воротники, бабы, раскрасневшись, распускали тугие концы платков.

И все было по-хорошему, как ни в чем не бывало.

Я вернулся домой усталый. Уже вечерело. Анна Ивановна сама открыла мне дверь. Из кухни доносилось шипение сковородок, над которыми хлопотала Алексеевна.

— Ну, что слышно? Гости были? — спросила Анна Ивановна.

Я покачал головой. Пока я снимал бекешу и вытирал ноги, Анна Ивановна принесла мне из столовой листок бумаги.

— Это вам — сказала она. — Принес солдат. Был в госпитале и вас не застал.

Это был четырехугольный листок, аккуратно сложенный вдвое. Я держал его в руке. Вот оно — первое известие. Что несет этот клочек бумаги? Это первое звено, а за ним пойдут другие, цепляясь одно к одному. Куда они заведут меня? Колесо вертится, я брошен на него и должен вертеться вместе с ним, в его оборотах.

Я развернул бумажку. Это был лист из блокнота. Наверху стоял штамп: Командир IV бригады. И число: 25 февраля 1919 г. Под ним номер: 404.

— „Гражданин врач...“

Я остановился. Гражданин врач! Я смотрел на эти два слова, выведенные уверенным почерком. Они гипнотизировали меня. „Гражданин врач... гражданин врач...“ — повторял я, как зачарованный.

И вдруг я ощутил что-то не испытанное, как будто революция дошла до меня в этих двух коротких звуках необычайным сиянием. В мире, кажется, произошло что-то прекрасное, — так я почувствовал странную красоту этих слов. — „Гражданин врач“, — опять повторил я и теперь отчетливо уловил в них несколько высокопарный и торжественный вкус еще с детства знакомой Декларации 1789 года.

У меня вдруг забилось сердце какой-то непонятной гордостью.

— Худое что замышляют? — спросила Анна Ивановна. Она испытующе всматривалась в меня.

Я очнулся. Сумерки лежали в углах передней. Лампа, висевшая у простенка, бросала пятна света и тени на полнокровное лицо Анны Ивановны.

— Нет, — сказал я торопливо. — Не похоже. — Я безотчетно улыбнулся. Напряженный взгляд Анны Ивановны под влиянием моей улыбки стал спокойней. Черты ее лица разгладились.

„Гражданин врач, — читал я вслух. — Предлагаю вам взять в свое ведение всех больных, имеющих в станице, отвести для них сухие, светлые помещения, на-

ладить питание и лечение. О числе больных донесите бригадному врачу. Комбриг Евдокинченко“.

Я поднял глаза на Анну Ивановну. С выражением ожидания она слегка приподняла складку на лбу. Я сказал ей:

— Ничего не понимаю. Выходит — назначают заведывать госпиталем.

\* \* \*

На другой день, после обхода в Гимназии, Марья Семеновна пожаловалась мне на недостаток мыла. Мыла в станице было мало, и лавочники при всем желании не могли дать его госпиталю. К этому же времени обнаружилось и исчезновение муки. Проходившие части закупали все, что было в наличии. Поэтому доклад бригадному врачу совпадал с необходимостью решить и хозяйственные вопросы. Предписание комбрига наложило на меня обязанности главного врача; оно же придало мне смелости. Именно смелости. Потому что в глубине души еще таился страх перед суровыми и нетерпимыми большевиками. „Чорт его знает, я начну говорить о муке, о мыле, а они сейчас же усмотрят в моих словах контр-революцию“ — думал я. Бригадный врач рисовался мне косматым мужчиной, с маузером за поясом, с свирепым и подозрительным взглядом.

Утром за чаем был у меня с Анной Ивановной разговор. Она тянула из блюдечка медленными глотками.

— Да, — сказала Анна Ивановна, — вот говорили: нехристи, разбойники. А смотрите, как чисто, тихо. Никаких скандалов. Мы-то страху натерпелись, ожидаючи, а они никого не трогают.

Душистая жидкость обжигала мне рот. Я отставил стакан.

— Действительно, — поддержал я. — Это просто выдумки оказались. Да и войска не те. Я видел их в восемнадцатом году, — то действительно были банды. А теперь — дисциплина, строй. Настоящая армия.

Анна Ивановна долила чайник и прикрыла его пухлым, расшитым колпачком. Черные глаза ее довольно блестя в узких щелках век.

— Дисциплину сразу видно, — сказала она с весом. — Сегодня днем шла я по Телеграфной, там мосточек

через дорогу. Снег растаял, мокро. Навстречу идут — человек пять... Увидели меня, остановились и подождали, пока я через мосточек прошла. Дисциплина у них есть — это видно.

Она сделала глоток и добавила:

— И одежда у них форменная. Говорили, будто одни каторжники да азиаты. А взглянуть на них — русские. Русские и есть. Ни немцев, ни китайцев не видать.

Штаб стоял на Епилдифоровской. Снег весь растаял. Стоял конец февраля, но было уже совсем по-весеннему тепло. С крыш стекала вода. Стволы деревьев стали влажными и шероховатыми. Земля была уже черной от грязи.

Я пробрался по кочкам к двухэтажному дому, такому же, как и соседний. Вдоль крыши шел конек с деревянным кружевом.

Парадный вход был заколочен. Нигде не было ни дощечки, ни записки, никакого указания на учреждение. Тогда я вошел в ворота.

Большой четырехугольный двор был испещрен следами копыт. В углу налево уткнулась оглоблями в землю водовозка, выкрашенная в зеленое. Какая-то сбруя валялась под навесом.

Я беспомощно оглянулся. Никого не было. — Что такое? — думал я. — А где же штаб? Где вестовые, адъютанты, флаги?

Прошло еще минут пять. Я подошел к дому и стал заглядывать в нижние окна. Нежилая пустота смотрела из комнат.

Долетел какой-то звук. На балкончике второго этажа стоял человек, — должно быть вестовой и чистил сапоги. Одет он был в гимнастерку без пояса; ворот был растегнут. Белая кожа ниже линии загара выглядывала из разреза рубашки.

— Послушайте, — крикнул я обрадовавшись. — Не знаете ли вы, где штаб бригады?

В разных концах двора отозвалось слабое эхо... Солдат поднял голову и перестал чистить. Он высунулся с сапогом в руке над карнизом балкончика и сказал лениво:

— Штаб здесь. Поднимайтесь.

По мокрым ступеням я поднялся наверх. Стало жарко. Я растегнул бекешу и подошел к вестовому. Ниже гимнастерки оттопыривались крылья галифе; на босых ногах были галоши. Сам он был без шапки. „Вот они — большевики, — подумал я, с любопытством разглядывая босоногого солдата. — Комбриг — ведь это в сущности красный генерал. У белого генерала при штабе вестовые не позволили бы себе подобной распущенности“. Солдат продолжал чистить сапоги.

— Я хочу видеть командира бригады, — сказал я строго.

Он полюбовался на голенище, сверкавшее как зеркало. Затем складывая щетки, сказал: — Вот туда пройдите.

И он указал на дверь в конце балкончика.

По узкому корридору я добрался до второй двери и постучался.

— Войдите! — крикнул юношески свежий голос.

Тотчас же открылась дверь. На пороге показался высокий военный, со стэкком в руке. Торс спортсмена был затянут в безукоризненно сшитый френч. Галифе синего сукна с канареечным гусарским кантом были вправлены в сапоги. Белокурые волосы, отброшенные назад, открывали гладкий лоб. Он вопросительно смотрел на меня, бритый и совсем молодой.

Я увидел две смежные комнаты, разделенные полукругом. В глубине второй темнел край письменного стола. Из-за арки выдвигался кусок склонившейся человеческой фигуры, одетой в кожаную куртку.

— Мне нужно видеть командира бригады или бригадного врача, — сказал я нерешительно. В этот момент у меня мелькнула мысль: — Как же я буду обращаться к начальству? „Товарищ командир бригады“ — что-то сложно, аляповато и непривычно. „Гражданин бригадный командир“ — совсем смешно получается. „Господин командир бригады“... „Господин“ — это ведь незаконно. Ну там видно будет, — мысленно решил я, — как-нибудь обойдусь... может быть, в третьем лице.

Военный со стэкком внимательно посмотрел на меня и, картавя, сказал своим приятным голосом:

— Бригадный врач — я. Чем могу служить?

Я на минуту растерялся. Этот вежливый молодой человек совсем не походил на начальство, которое собирает меня съест.

Я вытащил отношение за № 404.

— Эта бумага получена мной вчера и теперь в связи с некоторыми вопросами... — начал я, и, заметив его недоумение, сказал. — Я — доктор Фридланд, оставшийся с больными казаками.

— О, это очень кстати, что вы пришли, — оживился он. — Я очень рад. Вы мне нужны, я даже собирался за вами послать. Дело в том, что канцелярия должна учесть количество больных.

— Хорошо, — ответил я. — Сведения я пришлю вам сегодня же. Но мне заодно хотелось бы выяснить... Возникают вопросы питания больных, снабжения медикаментами. К кому я должен за всем этим обращаться?

Он увлек меня в глубину комнаты.

— Командир здесь. Пойдемте, доложите ему, и мы сейчас все обсудим.

Над письменным столом выпрямилась спина в кожаной куртке. Я тотчас узнал эту голову с резкими чертами лица, голову человека, говорившего перед станичным правлением. Черная шапка волос крепко обтягивала череп. На столе лежала карта, испещренная синими точками. Он поднял на нас свой четкий взгляд.

— Товарищ командир, — сказал бригадный врач, вертя стэк. — Надо обеспечить отпуск продуктов здешнему госпиталю.

В комнату вошел вестовой. Он был в тех же галошах на босу ногу, под мышкой торчали сапожные щетки.

Комбриг, не шевелясь, сдвинул веки, как бы что-то обдумывая.

— Из Интендантства нельзя, — сказал он тотчас. — По моему распоряжению — из местных складов.

Голос был сух и отчетлив.

Хлопая галошами, вестовой подошел и стал рядом с нами, прислушиваясь.

Я сказал недовольно:

— Склады, кажется, вывезены или разобраны. Если в складах ничего не окажется, кто же даст? Больных больше двухсот человек.

— Правильно так сделать, — сказал сзади меня новый голос. — Отпустить запас из Интендантства, а в дальнейшем возложить на ревком до упорядочения.

Я оглянулся. Это говорил вестовой.

Комбриг вырвал лист из блокнота.

— Я напишу в ревком.

И сказал мне:

— Дайте требование на неделю. Доктор Заркевич, — указал он на бригадного врача, — пусть заверит, отпуск будет сделан Интендантством.

Вестовой зашаркал галошами и ушел. Комбриг склонился над картой.

Прощаясь у выходной двери, бригадный врач тронул меня за плечо:

— Не забудьте сегодня же прислать сведения о числе занятых и свободных коек. Из полков больные будут направляться к вам. — И добавил: — Вам повезло, вы завтра же получите продукты.

Я крепко пожал ему руку.

Мы стояли на балкончике. Двор был пустынен по-прежнему. Меня преследовал один вопрос.

— Можно вас спросить? — сказал я. — Я понимаю какое угодно равенство, отсутствие чинов, муштры, вытягивания перед начальством. Но как может вестовой вмешиваться в распоряжения командира бригады и давать советы, когда его не спрашивают, ей богу, это не вмешается в моей голове.

Брови доктора Заркевича удивленно поднялись.

— Я про этого... в галошах, — пояснил я.

Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Что вы, коллега! — сказал он, обнажая в улыбке зубы. — Это комиссар бригады, товарищ Эвальд. Умница и вояка. Золотой человек.

### 3.

В тот же день, к вечеру, к госпиталю скрипя колесами подъехал фургон. Четыре красноармейца, бледные, с истомленными лицами, шатаясь, выбрались из него. В руках они держали сопроводительные документы. Ноги их ходили в просторных валенках, как голтышки.

Это прибыли тифозные из полков.

За первыми ласточками несчетным роем нагрянули другие. Сыпняк, косивший белых, набросился на победителей. Скоро все койки были заняты. Вновь прибывших укладывали в проходах, в коридорах, на мешки, набитые наспех соломой.

Я открывал отделение за отделением. В здании Интендантства комнаты были приведены в порядок. Нашли плотников. В недельный срок были готовы 200 топчанов. Бесперывно разгружались возы с соломой. Другие привозили больных. Третьи освобождали нас от умерших. Тиф был зол и беспощаден. Братские могилы росли на кладбищах.

Напротив Интендантства был Епархиальный дом. Его населили больными, едва успев поставить койки и бросить на них плоские тюфяки.

Восстановлен был и Распределительный пункт.

Так как быстро заполнялись и штаты персонала. Доктор Заркевич, ввиду срочных обстоятельств эпидемии, предоставил мне все полномочия приема и увольнения. Какие-то люди, подхваченные шквалами отступления и наступления, прибывали к дверям госпиталя. Они входили ко мне, мяли в руках шапки, топтались на месте, не зная, как и что сказать. Потом говорили неловко:

— Вот насчет службы...

На клочке бумаги я писал: „Марья Семеновна, санитаром в Интендантство“. На другой день, при обходе, они попадались мне на глаза. Они были уже в бязевых халатах и неуклюже ворочали больных.

Были среди них женщины. Они тоже от чего-то бежали. Но поток доносил их только до Нижне-Чирской. Избранных несло и дальше. А эти застревали между въездом и выездом, на какой-нибудь улочке, в доме, где их приютили на ночь. Обычно они были молоды. Должно быть, любовь как-то путалась с искусством войны. Отбившиеся или брошенные, они докапывались до прихожей нашего госпиталя и шли в сиделки, в надзирательницы, в кастелянши.

В один прекрасный день пришла ко мне молодая женщина. Своими пепельными волосами и строгой блузкой она напоминала курсистку. Глаза у нее были

серые и странные, немного дикие. Это была жена доктора Ветрова.

Тогда я узнал, что Ветров в сыпняке, — бредит и лежит пластом. Он никуда и не уезжал. Уже пятнадцатый день, а кризиса нет. Температура не падает. И открыв на меня глаза, серые и странные, немного дикие, она сказала:

— У нас есть термометр. Придите, пожалуйста, посмотреть Петра Антоновича.

Голос у нее был измученный. Она вдруг сложила руки на коленях усталым движением. И добавила:

— Я уже не знаю, что делать. Я спала бы без конца. Столько ночей...

Я вспомнил доктора Ветрова, холодного, высокомерного, замкнутого. То, что у него была жена, эта тоненькая, изящная женщина, похожая на курсистку, вдруг словно его очеловечило.

В эти же дни зачислились к нам четыре сестры милосердия. Я не знал, откуда они могли взяться, чьи они, из тех или этих. Три были тотчас направлены в Епархиальный Дом, а четвертая, Тарановская, в Реальное. Эта Тарановская, худая, обсыпанная пудрой, прыщеватая, говорила:

— Доктор, я стремлюсь отдать все свои силы. Ах, эти солдатики, они так страдают...

Это выходило умилительно, но противно. Сестры были нужны. Она была взята безоговорочно.

Пришла вертлявая барышня, черненькая. Цыганские глазки стреляли непрерывно у этой дочери торговца мясом. Она надела косынку, а над верхней губой приклеила мушку. Должно быть, это казалось ей верхом милосердия.

— А вы были сестрой? — спросил я.

Она кокетливо замялась. Губки сложились в бантик. Она капризно повела плечами. Ей казалось, что она превосходно играет.

— А как же! — обидчиво подняла она брови. — Я была два месяца волонтеркой.

Сестер не хватало. На бумажке я написал: „Раиса Федоровна Кузьмина, сестра милосердия, назначается в Распределительный пункт“.

В Народном Доме я заметил, проходя коридорами, шуплую мужскую фигуру. Раза два она уже попада-

лась мне. Аккуратенький человечек — такие были раньше писаря. Сапоги бутылками, навакшенные до ослепления, и дробный стук каблучков. Он подошел ко мне, оттаскивая кзади складки гимнастерки.

— Извиняюсь, господин доктор. Между прочим осмелюсь вашего внимания. Находясь в неизвестности места службы, какого лишен по военным обстоятельствам, отношусь к вам с просьбой.

Лицо в рябинах, круглое. Толстые губы выпячены чувственно. Глаза — глупые. Голос — жестяной.

— Вы кем были?

Он вытянулся и отрапортовал, как на смотру:

— Зауряд-чиновник Александр Семенович Ильин, помощник заведующего хозяйством сводной бригады.

Это было в первые дни д-ра Заркевича; хозяйство госпиталя только начало налаживаться.

А заведующего не было. Ильин не подходил, но и другого нельзя было найти. Не было под рукой никого. И я сделал его завхозом госпиталя. А расторопного Фролова — помощником. Этот остался от Пятиизбянского базисного склада.

А из врачей на все отделения я был один.

На восьмой день пришел, опираясь на палку, высокий латыш, доктор Дилле. Его тоже перед отступлением тиф свалил в постель. Я навещал его, когда он уже выздоравливал, одновременно с доктором Рудковым, также перенесшим сыпняк. Оба они были взяты на госпитальный паек.

Я встретил Дилле с удовольствием.

— Мне скучно без работы, — сказал он, скрадывая акцент. — Дайте мне работу.

Он вышел от меня заведующим Распредпунктом.

Доктор Рудков вскоре стал возглавлять Реальное училище.

Больных казаков Донской армии никто не трогал. Выздоровев они выписывались и уезжали домой.

Итак, у меня было шесть отделений, два врача, девять сестер, семь фельдшеров, завхоз, помзавхоз, надзирательницы, санитары, сиделки.

Нижне-Чирской заразный госпиталь развернулся на 700 коек.

\* \* \*

Там, где кончался кривой забор, открывалась калитка. Обнаженное дерево хлестало ветками воздух. Я привязал к стволу лошадь и побежал по мосткам в глубину двора. Лошадь принадлежала Митричу. Он дал мне ее в пользование, боясь, чтобы ее не угнали с хутора солдаты.

В ревкоме было полно людей. Горбоносый человек объяснялся до хрипоты с тремя женщинами, наступавшими на него. Лицо у человека было страдальческое. Женщины кричали об уведенной корове. Прочие сочувствовали и ждали своей очереди для крика.

— Товарища Гусева, предревкома, — сказал я требовательно. Я уже успел приучиться говорить настойчивым тоном. Я пробрался к столу. — От штаба бригады. Человек повернулся ко мне.

— Ну, эти бабы! — сказал он возмущенно. — Говорю ж, подайте заявление. Революционный орган разберет насчет коровы. Так нет, бросай все и иди...

Женщины подвинулись к столу.

— Госпиталю нужны белье и посуда, — прервал я его поспешно. — Больным не из чего есть и нечем есть. И людей не хватает для обслуживания. Вот отношения главного врача с резолюцией бригадного врача.

В отношении за № 73 госпиталь просил командировать для обслуживания сорок человек, а также выдать двести простынь, двести полотенец, сто чашек, сто ложек. Резолюция Заркевича подтверждала эту нужду для „означенного лечебного заведения“.

Человек со страдальческим лицом оцепенело посмотрел на меня.

Женщины вдруг опомнились. Крик возобновился.

— Нехай отгадут скотину! Где же это правда, господин комиссар!

Предревком пронзительно крикнул:

— Товарищ Чугуев.

Из соседней комнаты вышел тов. Чугуев, начальник милиции, человек с раздвоенным подбородком. На поясе лаково блестя кобура нагана. Талия была тонка, как у черкеса.

— Уймите товарищей женщин, — сказал предревком, — ежели они не понимают революционную законность...

Взгляд его упал на меня. Испуг снова проступил на лице.

— Где же набрать сразу столько?— сказал он, вертя в руках мое отношение. — Всем надо и всем срочно. Оставьте бумагу. Мы примем меры.

— Я еще насчет канцелярии для госпиталя, — сказал я, вытаскивая другое отношение. — Нам нужно помещение из трех-четырех комнат.

Он вздохнул облегченно.

— Пройдите, товарищ, направо, в отдел коммунального хозяйства. Там в два счета вам дадут.

Через пять минут у меня был ордер. Дом был отведен на Баклановском проспекте, № 27. Владельцы его бросили. А принадлежал он Тарасову, Ивану Ефимовичу. Это была квартира, где я раньше жил.

Часть дел была выполнена. Но для огромного механизма госпиталя необходимы были деньги. Денег же никто не давал, ни ревком, ни бригада. Я решил ехать к Заркевичу и добиться отпуска хотя бы небольшой суммы.

С бригадным врачом мы были уже почти друзьями. Он привез с собой молодую жену и оба скучали. Они любили друг друга, но однообразие обстановки удручало их. Я же был для них человеком из другого мира, и оба они набросились на меня.

Его крошечная канцелярия состояла из фельдшера-писаря и вестового и вместилась в одной комнате.

Другую занимал он с женой.

Я повернул к Заячьему переулку. Недалеко от его дома мне встретилась пара верхом. Это были они — Николай Федорович и Нина Дмитриевна на прогулке. Она подобрала волосы под каскетку и походила на румяного, крепкого мальчишку. Он ехал рядом, гибкий и ловкий.

Мы двинулись вместе, голова в голову. Грязь звучно мешалась под копытами лошадей. Прохожие провожали нас взглядами. Я долго и убедительно говорил о деньгах, о необходимости выдать персоналу хоть часть жалованья.

— Вы правы, конечно, — картавя как всегда ответил Заркевич, трогая стэком гриву лошади. — Но это трудно. Надо еще оформить существование госпиталя,

установить штаты. Я обещаю вам настоять перед командиром об отпуске аванса. С другой стороны...

Мы подъезжали к околице. Вдали лежало поле, черное, точно обугленное.

— Все о деле, да о деле, как скучно, — сказала Нина Дмитриевна. Она ударила хлыстом лошадь и натянула поводья. Лошадь вздыбилась и пошла, высоко перебирая ногами. — Когда Ростов будет взят, тогда занимайтесь сколько угодно. А сейчас мне скучно.

Я вспомнил Деникина и сказал:

— Это еще не скоро — Ростов. Казаки бегут, но добровольческая армия берет город за городом, и союзники с ней.

Заркевич, не оборачиваясь, заметил:

— Это неправда. Деникин убит вместе с Корниловым, а остатки армии мечутся по Кубани, как крысы в загоне.

Я рассмеялся.

— Милый Николай Федорович, это плохая тактика — недооценивать врага. Даже агитационно это вредно, если говорить с политической точки зрения. Деникин жив, и это опасный враг для Красной Армии. В его руках весь Северный Кавказ, Екатеринодар, Ставрополь, Армавир, Владикавказ, Минеральные воды и так далее. За неделю до вашего прихода я читал ростовскую газету о взятии Дербента генералом Бичераховым. А в Баку — англичане. Безусловно, Деникин идет на помощь Краснову и Ростова с Новочеркасском легко не отдаст.

Крупы лошадей раздвинулись, пропуская серого жеребчика. Нина Дмитриевна втиснулась между нами.

— Неужели у них армия вся офицерская? И прежняя форма? — спросила она с нескрываемым любопытством. — И погоны, кокарды, лампасы?

Мы попрердержали лошадей. Станица была позади. Направо сквозила рощица.

— Когда я уезжал из Ростова, — сказал я, — это был город, переполненный родовитым гвардейским офицерством. Воюют ли они — я не знаю. Но блистать мундиром и выправкой они умеют.

Глаза Нины Дмитриевны загорелись. Соображая о чем-то своем, Заркевич спросил:

смягчить это чувство, я рассказал ей о нужде госпиталя в персонале и о том, что когда дочь поправится, я возьму ее к себе, так как нам нужны хорошие сестры. Девочка с петербургским личиком и голубым бантом разглядывала меня в упор. Я дал записку Марии Семеновне на выдачу продуктов.

Я уже собрался уходить, как открылась дверь и вошла еще одна дочь. У этой было лицо фламандки, с ямочками, и из-под белой косынки выбивались рыжие пряди. Я затянул разговор и пробыл там еще около часа.

Эта девушка уже встала после сыпного тифа. Ее звали Ириной Александровной.

— Вы должны тоже пойти к нам служить сестрой, — сказал я, стараясь не задерживаться на ней взглядом, чтобы не выдать себя. Меня волновала эта расцветающая женщина. — Обязательно должны.

Она сказала серьезно:

— Я и сама хочу, ведь мамочке так трудно. Только еще несколько дней срока, пока я буду чувствовать себя совсем хорошо.

И улыбнулась вдруг. Это движение губ было неожиданно. Мне же стало почему то радостно.

Прошло несколько дней, больше недели. Облака легко и воздушно плыли по небу, земля к полдню была уже сухая, а к вечеру от обогретых дорог, заборов, домов источалась разнеживающая и томительная теплынь. Мне было беспричинно грустно и непрерывно и непонятно ломалось настроение. Однажды, навестив поздно вечером Томиловых и уже осмотрев больную, я почувствовал злую печаль одиночества. Торопливо дописав рецепт, я поднялся, чтобы уходить. Мать поправляла у изголовья лежавшей подушку.

— У нас ужасные ступени, — сказала Ирина Александровна. — Я вас провожу.

Она зажгла огарок. Язычок пламени дрожа замигал. Прикрывая рукой огонек, чтобы не задуло, она пошла вперед. Ступени, как клавиши, играли под ногой. Я споткнулся и едва не упал. Свеча погасла. Ночь была теплая, парная. На краю неба висела пышная и ржавая луна.

Мне хотелось любить. Темная путаная сила ворочалась в груди и туманила голову. Я взял руку спутницы. Ладонь была нежная и мягкая.

— Вы ужасно милая, — сказал я, вздрагивая. — Не уходите, проводите меня еще немного.

Она стояла в нерешительности.

— Мама... поздно... — сказала она, колеблясь.

Я погладил ее пальцы.

— Пожалуйста, пойдемте, — умоляюще говорил я. — Мне с вами приятно.

Через несколько шагов мы нашли скамью у чьих-то ворот.

Луна поднималась выше и светлела. Напротив, за забором, верхушка вербы была окутана голубоватым туманом. Облака клочьями бежали на запад.

— Я один, — говорил я. — Понимаете, один. Кругом чужие, все такие холодные. Вы мне сейчас кажется ласковой и нежной. Это не важно, что я вас не знаю. Пусть мне только кажется. Но мне сейчас хорошо я хочу, чтоб было лучше.

Она сидела рядом и неопределенно смотрела перед собой. Я протянул руку и обнял ее. Она незаметно отодвинулась.

— Не надо этого, — тихо сказала она. — Зачем?

Виноватая улыбка тронула ее губы. И она умоляюще посмотрела на меня сбоку.

Мелкая дрожь била меня. Я знал, что эта девушка чистая, что она не будет принадлежать мне ни сейчас, ни после, и я презирал себя за бунт плоти, сотрясавший меня. Но дрожь была непослушна.

— Зачем? — сказал я. — Не знаю. Вы вероятно такая же, как и все, обыкновенный милый человек. Но есть в вас для меня что-то волнующее. Я целый день мечусь по госпиталю, хлопочу, устраиваю, отдаю все силы, и вдруг сейчас я почувствовал, что это не главное, а главное — вы. Это звучит нелепо, но это правда. С того момента, как я увидел ваши губы, я потерялся...

Я произносил все слова искренно. Вероятно, так говорят заправские соблазнитель. Я понимал, что это только минута, что, выражаясь натуралистически, я просто изголодался по женщине. И больше ничего.

Но эта минута делала меня пьяным и экзальтированным.

Я притянул ее к себе и начал целовать. Она защищалась, но не могла вырваться. Я не ощущал ударов. Упругое тело в моих объятиях делало меня сильным.

— Пустите! Пустите! — упираясь в меня кулаком, шопотом возмущения повторяла она. — Какой вы нехороший... Пустите!

Наконец я разжал руки. Она выпрямилась, разгряченная, негодующая.

— Как вам не стыдно! — сказала она со слезами в голосе. — Вы оскорбили меня. Я не могла сопротивляться, я еще слаба после болезни. Вы как зверь, вы очень грубый, и сделали мне больно.

Я молчал, тяжело дыша. Вдруг она нагнулась ко мне. Глаза ее стали широкими.

— Ах, — сказала она испуганно и заботливо, осторожно касаясь пальцем моей щеки. — У вас кровь. Я кажется оцарапала вас.

\* \* \*

Ревком переехал в новое помещение на Ивановскую. Дом выходил на просторную, как поле, улицу, пыльную, кособокую.

До начала заседания оставалось еще много времени. Я подобрался к Поломейко, комиссару снабжения 14 дивизии, и начал ему рассказывать о нуждах госпиталя. Высокий, сутуловатый, с добрым взглядом светлых глаз, Поломейко старался слушать меня, но то и дело поворачивал голову в сторону, где комиссар штаба дивизии Рожков разговаривал с начальником штаба. Рожков был бритый, с каменным упорным подбородком. Он часто снимал пенсне и протирал платком стекла.

Комиссар штаба собирался первым делать доклад. Заркевич тоже был здесь, но ушел готовиться к отъезду. Я же попал сюда из-за Поломейко.

Еще утром Николай Федорович Заркевич пришел ко мне прощаться. Штаб бригады передвинулся вчера дальше за отступающими казаками. Белые задерживались, давая кое-где бои. Заркевич остался на день, чтобы закончить некоторые медико-санитарные меро-

приятия. Вчера же в станицу прибыл штаб дивизии вместе с отделом Снабжения, к которому наш госпиталь должен был приписаться. — Поедьте вместе к начальнику Снабжения разговаривать, — сказал Заркевич. — На прощание я помогу вам.

Мы сидели в канцелярии госпиталя. А канцелярия занимала квартиру Тарасова.

Вошел человек с револьвером за поясом и подал мне бумагу. Она была на имя главного врача.

„Военно-революционный комитет ст. Нижне-Чирской препровождает при сем в ваше распоряжение для обслуживания госпиталя 26 мужчин и 12 женщин. На отношение № 73. Предревком Гусев. Приложение: именной список.“

— Вы все жалуетесь, — заметил Заркевич, ударяя стэком по голенищу. — А ревком немедленно выполняет ваши требования

Мы вышли на улицу. У ворот стояла толпа мужчин и женщин. Некоторые сидели на корточках; увидя нас они привстали. Все зашевелились нам навстречу. Человек с револьвером за поясом — милиционер — спокойно стоял в стороне и, надвинув на нос шапку, чесал затылок.

У мужчин был вид полковников в отставке, замурыганных бедностью. Женщины же, все как одна, казались салопницами, выпавшими со страниц Чехова или Григоровича. Это была трудовая мобилизация буржуазии.

Я пожал плечами. Заркевич расхохотался.

— Вам смешно, мой друг, — сказала я раздосадованно. — Завтра ваш след простынет, а у меня на руках семьсот больных. Мне нужны санитары и сиделки, а мне присылают целиком богадельню.

Морщинистый человек с ватой в ушах прислушался, вытянув шею.

— У меня, ваше высокоблагородие, кила, — обратился он ко мне и начал рыться в карманах. — Еще в пятом году, как на Манджурию итти, комиссия признала меня неспособным к царской службе. Где же это оно, — щупал он себя по карманам, — свидетельство ихнее? Еще когда в запас увольнялся...

Худая женщина с синюшливым носом отстранила человека с килой.

— Жалуюсь до вас, господа военные, — одышливо сказала она. — Берут слабую женщину и гонят. У меня в животе вода, я внутренностями негодная, и на пенсии вдова.

Мобилизованные облепили нас с жалобами. Заркевич, постукивая стэком, рассматривал их прищурившись.

— Придется вам, — сказал он улыбаясь, — освидетельствовать их физическое состояние и вернуть при бумаге ревкому. Эх, что ж делать, лес рубят, щепки летят.

— Я попрошу товарища Гусева, — сказал я, — не устраивать таких вещей. Это же безобразия. Но, по совести, я не знаю, в чем он виноват; других, вероятно, нельзя найти.

Я велел человеку с револьвером отпустить всех. А список положил в карман.

В отделе снабжения стрекотали машинки, было много столов и шкафов. Сизый дым ходил под потолком. Шелестели листы.

Начснаб Линке, бывший кадровый офицер, выслушал меня внимательно. Его сытые щеки были опущены на тугой воротник френча. В своем маленьком кабинете он казался не то простуженным, не то обиженным. Заркевич меня поддержал.

— Я не возражаю, — сказал Линке неожиданно детским голосом. — Ни против зачисления госпиталя на снабжение, ни против аванса. Но это же зависит от комиссара. Где товарищ Поломейко? — крикнул он пронзительно кому-то в дверь. — Ах, да, — спохватился он. — Поломейко в ревкоме.

И послал нас туда. А там начинали заседание.

Поломейко меня плохо слушал. Вдруг он хлопнул ладонью о ладонь и крикнул:

— Тише! Какой матери здесь шум? Тише!

Рожков начал говорить в наступившем молчании. Его бритая голова, с прочными выпуклинами, качалась такт словам.

— Товарищи! Героические борцы Красной Армии идут вперед, сметая на пути все препятствия. Ни морозы, ни огонь пулеметов не останавливают революционного порыва. Беспрерывные походы сильно потрепали бойцов, Но, товарищи, Красная Армия, которая

есть дитя трудового народа, выполнит свой долг до конца. Она уверена, что во всех, в рабочих и крестьянах, она имеет опору. Город за городом, станица за станицей переходят в наши мозолистые руки. Дрожат Новочеркасск и Ростов, это трепещет вся контрреволюция...

Я о чем-то задумался и пропустил кусок речи.

... под Одессой десант союзных империалистов вынужден отступать к морю. Вчера последние сводки сообщают, что в наши руки попало два танка. Товарищи, они сегодня отдали два танка, завтра они отдадут все и полезут в море...

... на Архангельском фронте захватчики теснятся нашей героической Красной Армией. Уже в порту у них сосредоточиваются на всякий случай транспорты. Это во-время. Товарищи, не сегодня, завтра эти транспорты увезут обратно, не солоно-хлебавши, всю империалистическую заваль...

... Венгрия стала советской страной. Власть там в руках народных комиссаров. Товарищ Бела Кун поднял знамя коммунизма. Товарищи! Сегодня Венгрия, а завтра — Италия, Франция, Англия... Да здравствует мировая революция!..

Его слушали внимательно. Предревком Гусев с тем же измученным лицом озабоченно всматривался в говорившего. Тонкая фигура Чугуева приросла к стене. Поломейко одобрительно кивал светложелтой головой. В этой комнате было так торжественно, точно именно здесь, в затерявшейся станице, был узел всех этих великих дел.

А может быть это только казалось мне торжественным. Начальник штаба Киселев опустил скучающее лицо.

Когда Рожков кончил, я потянул Поломейко за рукав:

— Товарищ Поломейко, ну как же со мной?

Я хотел сказать, что пора уже заняться моими делами, что я уже три дня, высунувши язык, бегаю за деньгами, в которых страшная нужда, что госпиталь не может ждать, пока все формальности со штатами и зачислением будут выполнены, что все это нужно вырешить срочно. Но Поломейко замахал на меня руками.

Он вытащил листок с цифрами. Я понял, что сейчас будет его выступление.

Я отошел к окну.

Посредине улицы стоял накренившийся фургон с сеном. Лошадь в оглоблях лежала на земле, запутавшись в постромках. Два красноармейца заходили с той и с другой стороны, хватались за оглобли, за хвост, тянули за хомут, за шлею. Лошадь дергалась, била ногами воздух, но не вставала.

Невысокий человек в солдатской шинели переходил дорогу. Его можно было принять за красноармейца, если бы не пожилой вид. Лицо было круглое, немного бабье, рябоватое. Он остановился у передка и что-то сказал, а затем все трое взялись за колеса. От натуги лица их вздулись и налились кровью.

Я наблюдал через окно всю эту возню, развешивавшуюся как на экране.

Поломейко много говорил о состоянии продовольствия и обмундирования войск. Начальник штаба Киселев скучно слушал. Человек с улицы в шинели, с бабьим лицом, неслышно открыл дверь и вошел. Так же бесшумно он примостился в углу.

Поломейко говорил. Киселев кивнул головой вошедшему.

Наконец Поломейко кончил. Я, делая жалобное лицо, начал к нему пробираться. Но в это время председатель, тов. Гусев, постучал карандашом по столу и сказал:

— Слово принадлежит начальнику дивизии товарищу Степину.

Человек с улицы, с бабьим лицом, встал и шагнул вперед.

#### 4.

Прошло свыше месяца. Госпиталь развернулся на тысячу кроватей. Больные лежали на койках, белье и деньги отпускало Снабжение. Лавочники давно получили полностью по всем запискам, выданным мной с первого дня возвращения. Персонал постепенно пополнялся работниками, частью местными, частью прикомандированными из полков и бригад. Нехватало

только врачей. Доктор Ветров выздоровел и тоже получил в свое ведение Народный дом.

И все же мест для больных было мало. О дальнейшем расширении госпиталя думать не приходилось. Все большие здания были уже использованы.

К этому времени было опубликовано положение об организации слабосильных команд для выздоравливающих. Это разгрузило немного лечебные койки.

Но вскоре команды тоже были переполнены. Тогда начала действовать врачебная комиссия. Здесь отделили годных на фронт от остальных, подлежащих отпуску. Машина отбора работала регулярно два раза в неделю. Членами были Рудков и Ветров, председательствовал я. Штаб армии и штаб дивизии обращали внимание комиссий на поредение частей, становившееся катастрофическим, так как эпидемии поедали полки, превращая фронт в решето.

Квартира Тарасова оказалась удобной для канцелярии. В кухне жила Маша, прислуга Лидии Викторовны. Столовая сохранила из всех своих признаков только буфет; в ней устроилась хозяйственная часть. В кабинете Ивана Ефимовича с забытым пианино был медицинский отдел. А хозяйская спальня пошла под служебный кабинет для меня и для комиссии. Детскую занял курьер, он же сторож.

Дивизионный врач Аверьянов вскоре по прибытии заболел. Это был привлекательный с первого же взгляда человек. Русский, склонный к полноте, с небольшой красивой бородкой, он напоминал тех земских интеллигентов, которые когда-то несли в народ идеалы добра и гуманности. Слушал он внимательно, говорил мягко, а когда нужно было сказать неприятное, что могло обидеть, ему самому становилось мучительно неловко до страдания.

Началось с головной боли. Потом температура пошла вверх. Через четыре дня я нашел у него на животике пятна. Это была экзантема сыпняка.

Из дивизии вызвали заместителя, доктора Шипякова.

Прошел день, другой. — Шипякова не было. Из частей поступали телеграммы, телефонограммы, запросы, требования, а читать все это было некому. Аверьянов просил

меня заняться разбором материала. Врачей дивизии в станице не было. Приходилось временно, до приезда Шипякова, остановиться на мне, чтобы не скомкать налаженные с трудом санитарную связь и отчетность. Я получил отношение, за номером и печатью, принять дела санчасти, а начдиву пошел рапорт для утверждения в приказе.

После госпиталя, по поздней ночи, я разбирался в поступавших медицинских сводках и донесениях. Помогал мне аверьяновский делопроизводитель. Домой я приходил с мутным взглядом и больной головой.

Потом приехал Шипяков, краснощекий, краснотубый. Я обрадовался ему, как будто личному другу. С его появлением досуг снова вернулся ко мне.

Я опять был свободен по вечерам.

В эти вечера мне пришлось встретиться несколько раз с Полемейко. Делал я это, запросто заходя к нему на квартиру.

Штаб дивизии передвинулся за штабом бригады. Но снабжение прочно обосновалось в Чирской. Линке цеплялся за буквы, за крючочки, за параграфы. Он был формалист. Тогда вечером я шел к Полемейко и подробно, без помехи, объяснял ему мои госпитальные нужды. Этот латыш был интуит и вспльзчив. Он ругал начснаба и брал на себя решение. Только благодаря ему госпиталь кое-как выкручивался и справлялся с непомерной перегруженностью.

Остальное время у меня отнимали посетители. Началось это так. Алексеевна позвала меня однажды в переднюю, а там стоял грузный мужчина. Он показал мне лодыжки, не видные под отеком. Одышка его мучила. Я приложил трубку к волосатой груди и услышал, как разноголосно, хлипая, щелкая, поют легкие. Сердце же расползло направо и налево.

Я дал удостоверение о декомпенсированном пороке сердца. Эта бумажка сняла его с учета, с трудовой повинности.

За ним пришли другие. Разные люди, одолеваемые немощами и милицией, рано утром и поздно вечером, заходили в переднюю. Алексеевна была с ними предупредительна, потому что это были именитые и уважаемые жители, и она знала их. Анна Ивановна смотрела из-за занавески. Это был ее круг, и ей теперь было

неловко встречать их в таком положении. И все они были не молоды. Женские болезни, желтухи, эмфиземы, артериосклероз, астмы, ревматизмы гнездились в них. Я это удостоверял.

А потом было так. У дома меня остановил угрюмый человек. За поясом торчал наган. Кожаная шапка плющила голову. Усы жестко торчали над верхней губой.

— Это ваше? — спросил он. В руках у него были мои удостоверения. — Ваша подпись?

— Да.

Одним движением он разодрал эту пачку. Обрывки, крутятся, упали на землю.

— Вот,—сказал он отрывисто.—Вот что с ними мы делаем. И знаете, товарищ врач,—добавил он с угрозой,—вам следовало бы поменьше этим заниматься. Буржуазия работать будет!

Он ушел, тов. Амелаев, военком. Бумажный снег был жалок на грязной земле. Я же больше не искал ни склерозов, ни катарров.

Вид станицы изменился. Магазины и лавченки на проспекте расторгались до последней нитки. Нечего было покупать, нечего было продавать. Болты плотно легли на двери и окна. Сразу же, как только не стало торговли, улица оказалась мертвой. Не было и базара. Пустовал бульвар. Редкие парочки, лузгая подсолнухи, топтались под голыми деревьями.

Только у ворот военкомата всегда толпились люди в солдатских шинелях. Отпускные красноармейцы, бледные, шатающиеся еще после тифа, рассаживались, как мухи, на огромных булыжниках у забора в ожидании бумаг и отправки.

Да около управления милиции чернели кучки мобилизованных на общественные работы.

На доме купца Горядкина появилась небольшая зеленая вывеска. На ней было выведено: „Чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-революцией, саботажем и преступлениями по должности. Нижне-Чирское отделение.“

Фронт же был далеко. Думенко захватил Великокняжескую и переходил Сальские болота. Уже виднелась Кубань. IX Армия шла полосой с севера на юг,

сжимаясь к донским гирлам. Полки 14 дивизии подходили к константиновскому району, нацелившись на Новочеркасск.

А из Цымлянской прибывало оказией Донское шипучее.

Был апрель девятнадцатого года.

\* \* \*

Я захлопнул папку и встал. Заседание комиссии кончилось. Комната сразу стала пустой и холодной. Человеческий пот и еще какие-то запахи носились в воздухе. На полу валялись клочки бумаг, кусочки веревок, ссохшаяся грязь подошв. Ветров и Рудков спешно подписывали акты. Фельдшер Суровикин, ведший медицинский отдел, на углу стола аккуратно рассортировывал документы.

В прихожей кто-то лежал на полу. Я окликнул его. Ответа не было. В этом узком проходе было полутемно. Я нагнулся и нащупал спину человека. Он застонал.

Из канцелярии вышел писарь, за ним Ильин. Но лежавший, делая усилия, поднялся сам. Его левая нога была обута в валенок, правая в сапог. Он объяснил, что у него опухоль, что его прислали в канцелярию и что у него нет никаких сил.

— Вот она, — сказал он болезненно морщась и охая. — Вот бумага от доктора.

Это была сопроводительная, подписанная доктором Дилле; Распредпункт направлял красноармейца Сидоренко в канцелярию, на распоряжение. А в графе — диагноз — стояло: „флегмона левого бедра“.

Я пожал плечами. Это было, конечно, возмутительно. Распредпункт должен был направить больного непосредственно в Хирургический лазарет дивизии, занявший окружную больницу. Гнать человека с флегмоной в канцелярию было не только нелепо, но и жестоко. Случай этот был не первый у Дилле. Я не понимал этого упрямства.

Мы стояли и возмущались порядками Распредпункта. Больной же начал стонать от потревоженной боли и кричать. Он ругал нас буржуями. Шум и стоны заглушали скрип перьев.

Мне надо было торопиться, так как заболела дочь Томиловой, петербургская девочка. Ирина Александровна ждала меня во дворе и нервничала.

Я распорядился написать Дилле бумагу с указанием на недопустимость в дальнейшем подобных историй. Тон звучал резким выговором. А для больного вызвал подводу.

День был весенний, теплый. Синее небо ушло высоко. Этот эпизод не смог уменьшить радости, овладевшей мной под этим нежным и ярким солнцем. Шагая по улице, уже начинавшей пылить, я с томительным волнением слушал Ирину Александровну, рассказывавшую о работе в Реальном. Она уже около двух недель была сестрой госпиталя.

На повороте проспекта показалась высокая, ширококостная фигура Дилле с его неуклюжим размахом ног. Случай с Сидоренко был свеж. Я остановил Дилле:

— Владимир Карлович, — сказал я недовольно, — вы поступаете нехорошо. Сегодня вы опять зря гнали в канцелярию больного с флегмоной. Больной устроил скандал и был прав. Я прошу вас больше этого не делать.

Зрачки Дилле за стеклами очков стали колючими, как булавки.

— Я это сделал, — сказал он с резким латышским акцентом, — потому что я нашел нужным так сделать.

Он сжал губы и посмотрел на меня в полоборота.

— Если вы иначе не можете объяснить вашего поступка, — сказала я холодно, — значит это каприз. Но капризничать вы можете у себя дома, а не с больными. Вы обязаны подчиняться моим распоряжениям, потому что за порядок отвечаю я.

Он отступил на шаг. Его ноздри раздувались. Минуту длилось молчание. В этой паузе была угроза, вынужденная быть бессильной.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Ваше распоряжение будет выполнено. С своей стороны прошу принять мой рапорт о переводе меня в латышские национальные части.

Он повернулся и пошел. И скрылся ни разу не обернувшись.

— У него ужасные глаза, — сказала Ирина Александровна. — Таких глаз надо бояться. Это злой и ненавидящий человек.

В конце улицы показался стройный ряд людей. Штыки блестели. Сотни ног тяжелым звуком били о землю. Нам навстречу двигались красноармейцы.

Мы прижались к палисаднику, пропуская шеренги. У солдат были желтые скуластые лица. Они дружески подмигивали нам узкими щелками глаз. „Шанго... шанго... Короша баба ... шибко карасява...“ слышались возгласы. Это был китайский полк.

— Какая неожиданность, — сказал я, глядя на удаляющуюся линию спин и голов. — Я всегда считал газетными сплетнями слухи о китайцах в Красной Армии. А это правда. А главное — какие brave солдаты.

Из за угла Шоссейной улицы выехал фаэтон. Колеса были в многодневной грязи. Дорожный чемодан лежал на сидении, а пассажир шел сбоку.

Походка этого человека показалась мне знакомой. На широких плечах болталось осеннее пальто, полосатое, несуразное, слишком короткое для высокого роста владельца. Я подошел ближе и ахнул.

Это был Кронид Степанович Михайленко.

\* \* \*

Капли дождя еще падали, а в небе зацвела арка. Радуга гнула над землей, как павлиний хвост кометы. Я задевал головой ветки и брызги падали на лицо и шею. Рядом со мной вороной иноходец нес Поломейко.

Мы возвращались с прогулки. Роца была уже зеленая. Запахи мокрой земли были пряны. Шмель жужжал над ухом.

Все это было из за Михайленко. Благодаря его возвращению у меня освободилось время для поездок за станицу.

Сам Михайленко вернулся буквально ни с чем... Серебряков попал в лазарет под Потемкинской. У Нижних Курмойр Думенко атаковал колонну отступления. Красная конница перешла Дон и внезапно подошла

к станице. С гиканьем и стрельбой лавина мчалась по улочкам. Сабли сверкали. В панике белые бежали кто куда; Михайленко пришел в себя где-то в огороде. Доха была потеряна в бегстве, а все движимое имущество исчезло мгновенно, унесенное взбесившейся лошастью без возницы.

Не имея ничего, он взял то, что я ему мог предложить: заведывание Реальным училищем. Так он попал на военную службу. Я же рабочий день заканчивал на два часа раньше. Поэтому я занялся, в виде отдыха, верховой ездой по окрестностям.

Поломейко мерно покачивался рядом. Он говорил мне о Латвии, о своей прекрасной стране.

— У нас, у большевиков, отечество нет. Но есть сон должно быть, который когда то снилось, — говорил он певуче и трогательно, неправильно произнося слова. — Я вспоминаю свой дом, свой родительский мыза. Крыша весь был из красного кирпича и перед окнами большие цветы. А воздух был мягкий, совсем как волоса одной милой девушки.

— Где ж эта девушка, Яков Иоганнович? — улыбаясь спросил я.

Морщины набежали на лоб, но он сейчас же рассмеялся.

— О, эта девушка был буржуйка и потом уехал. Но я вспоминаю не ее. Когда я был в Латвии в подпольной работе, я пошел взглянуть на свой эти цветы. Красная крыша был поломана, а цветов нету. Это за меня правительство уничтожил мой дом. Я был член ревкома Риги. А мой родители уехали.

Деревья поредели. Мы выбрались на дорогу. Далеко направо светлая лента реки тянулась у горизонта. Облака как шатер поднимались над ней. В стороне невысокая гряда холмов тянулась вдоль шоссе до самой Чирской.

Когда мы въехали в станицу, уже вечерело. От деревьев бежали длинные тени.

У дома Поломейко ждал курьер из Снабжения с пакетом.

— А, — сказал Поломейко, прочитав бумагу. — Заместитель Линке уже здесь. А вы к Линке? Ну, хорошо, поезжайте, я потом навещу.

Начснаб Линке заболел. Я решил ехать к нему сейчас же, чтобы не возвращаться дважды домой. Жил он недалеко.

Я застал его в кровати. В домашней рубашке, цветисто расшитой, он казался добродушным. Запах одеколона освежал воздух опрятной комнаты.

Дом был вместительный; другие комнаты также были заняты сотрудниками Снабжения. Выметенные полы и чистота всюду говорили о женской руке. Действительно, хозяйка квартиры оставила за собой две комнаты и право следить за порядком. Эта казачка с миловидным лицом хлопотала на веранде, напминавшей своими стеклянными стенами оранжерею, и расставляла приборы. Выходило очень похоже на общежитие. Через стекло виднелся сад с дорожками и клумбами. Дорожки были расчищены, клумбы уже зеленели.

У Линке оказался фурункул на промежности. Я щупал ярко красное вздутие, а все рыхлое, как у купчихи, белое тело изгибалось. Это, конечно, было больно. Нарыв в фокусе уже созрел. Скальпель быстро сделал бы дело выздоровления.

Но услышав про нож, начснаб побледнел, пот выступил у него на лбу.

— Нет, — сказал он решительно, — не надо резать. Лечите меня так.

И он стонал и вздрагивал.

Я еще раз исследовал опухоль.

— Нет, — покачал я головой. — Надо вскрыть. У вас глубокая полость, и гной может прорваться в прямую кишку. Послушайте меня, — добавил я серьезно. — Идите в хирургический лазарет. После операции вас эвакуируют в тыл для излечения.

Он снова испугался.

— Нет, только не это, — вскрикнул он, — не тыл. — И как будто желая смягчить резкость протеста, сказал: — ведь эвакуация будет очень болезненна. Я не хочу эвакуации. Я хочу остаться и лечиться здесь, у себя дома. Я поправлюсь и так. И, право, так будет лучше.

Я начал увивать промежность бесконечным, как макарон, бинтом. Почувствовав компресс, Линке успокоился.

В дверь постучали. Вошел Поломейко, и с ним низенький, полный человек, с черными отвислыми усами.

— Товарищ Линке, валяйтесь теперь сколько угодно, — сказал Поломейко, грубовато-ласково, — и не надо волноваться делами. Вот товарищ Румянцев.

У усатого толстяка были живые глаза на квадратном лице. Он энергично взмахивал короткими руками. Я успел заметить его пухлые удивительной красоты пальцы.

— О, мне работы мало будет, — быстрым говорком, улыбаясь, сказал толстяк. — Дело поставлено товарищем Линке, как видно, образцово. Я уже ознакомился бегло, понимаете. Все бригады, понимаете, отчитываются. А вот инженерный батальон хромает.

Я кашлянул. Мне хотелось уйти. Поломейко поймал меня и познакомил с Румянцевым.

— А, госпиталь, — сейчас же сказал толстенький человек. — Это сверхсметное ассигнование, понимаете. Отчетность, отчетность, готовьте отчетность. Иначе ни ни одной копейки новой, понимаете. Это же в ваших интересах, доктор.

Поломейко похлопал меня по плечу.

— За ним надо очень крепко смотреть, — сказал он, смеясь голубоватыми глазами. — Очень крепко. Он пленный.

Румянцев с любопытством посмотрел на меня.

— А вас откуда сюда занесло?

Я ответил.

— А, из Ростова, — насмешливо-сочувственно проронил он. — Ну, готовьтесь. Скоро попадете туда, понимаете. Ростов будет брать девятая армия. У нас уже назначены караулы к складам и сооружениям. Этого, понимаете, уже недолго ждать.

В этот момент я случайно повернул голову и увидел Линке. Он смотрел на Румянцева и Поломейко. Ненависть, острая, как лезвие, горела в его глазах.

\* \* \*

Внезапно на фронте что-то произошло. Штаб дивизии оставил Константиновскую. Отдел снабжения, готовившийся свернуться, чтобы идти дальше к югу, отменил распоряжения.

Ходили слухи об отступлении. Было ясно, что там, на линии военных действий — перелом. Но не видно было ни суеты, ни тревоги. Все шло обычным порядком. Больных привозили, комиссии заседали, увольняемые в отпуск собирались в военкомате. Обитатели слабосильных команд грелись на солнышке, становившемся жарким по-летнему. События, очевидно, разыгрывались еще не близко.

Иногда я приходил в общежитие к Румянцеву, или к Поломейко. Они не скрывали, что дела на боевой полосе неважны. Но эти неудачи видимо их не пугали. Однажды Румянцев сказал мне, что штаб уже в Печаной, или что-то в этом роде. Положение становилось, значит, тревожней. Нужны подкрепления. Части тают, сдаются в плен. Командный состав из офицеров перебегает к белым.

Линке не выходил из своей комнаты. Его одолевали боли, делавшие невозможным ходьбу. Фурункул давно прорвался. Я делал ему перевязки, рана быстро очищалась и он мог бы уже двигаться. Я сказал ему об этом.

Он же очень нервничал, и лицо у него было утомленное, бледное, — очевидно, от отсутствия движения и свежего воздуха.

Кой где вспыхивали восстания. Кругом Чирской было тихо. Но в дальних округах небо озарялось пожарами — этими предвестниками бури. Где-то в стороне, в бездорожьях, гул набата поднимал станицы. Говорили, что казаки берутся за оружие и нападают на обозы.

Приехал Шипяков и мы обсуждали вопрос о возможности эвакуации. Он ходил по комнате взволнованный.

— До последнего красноармейца, — говорил он, — Никого не оставлять. Нам будет дана возможность всех вывести и надо будет директиву во что бы ни стало выполнить, под вашу личную ответственность.

Моя собственная судьба была мне давно ясна. Не было никаких сомнений в том, что я должен использовать все способы уйти от казацкого командования, от Донской Армии, от Мамонтова, от Тарасовых.

Правда, перспектива передвижения по хуторам, станицам, селениям меня не радовала. Я думал о скитаниях на подводе без особого удовольствия, и мысль о том, что поздно ночью после долгой тряски я буду бросаться одетым на чужую койку, не таила никакого соблазна. Если воевать, то лучше уж где нибудь здесь по близости, так чтобы я оставался на месте, в Чирской, в комнатке с книгами, с креслом, с обходительностью Анны Ивановны, с шлепанием туфель Алексеевны.

Но и двигаться — не казалось теперь таким страшным. Была весна, начало лета. Поля цвели, небо голубело. Земля беременела радостями и красками. И вечерами от тяжелого золота зари на меня сходила иногда буйная расторопья бродяжничества.

Когда я решил, судя по некоторым признакам, что эвакуация не только неизбежна, но и близка, я пошел к Поломейко.

Окна веранды были открыты настежь. Ветерок шумел в разросшихся аллеях. В глубине сада виднелся из-за деревьев край беседки и на клумбах цветы, еще не распустившиеся, примешивали свои слабые ароматы к свежей сырости сада.

На крыльце веранды сидел маленький черненький человек в студенческой фуражке. С ним был Поломейко и другой, в кожаной кепке и с револьвером за поясом. Черненький человек был Тер, уполномоченный Реввоенсовета IX армии по эвакуации. А в кожаной кепке — Амелаев, комиссар военкомата, порвавший когда то мои удостоверения.

Пришел и Румянцев, неистощимо энергичный как всегда. Я изложил Теру свои соображения и желание обеспечить безболезненную отправку госпиталя.

Маленький человек, блестя глазами, твердо сказал: — Вы получите, все, что надо.

И тут же написал приказ в ревком о подводах, другой — начснабу о содействии, и третий — на пароход. Пароход должен был притти завтра или послезавтра

и грузиться учреждениями и имуществом по указаниям уполномоченного.

Было в этом человечке в студенческой фуражке что-то, что заставляло подчиняться. И было очевидно, что все его распоряжения будут выполнены.

Потом долго и настойчиво говорил Румянцев. Терю иногда вставлял односложные реплики, записывая что-то в блокнот. Речь шла о деталях перевода различных складов в тыл.

Темнело. Я вышел с Румянцевым на улицу. Он торопился в Отдел, где работа в эти дни шла до поздней ночи. На углу мы остановились.

— Эх, — сказал он, апоплектически кашляя. — Нехорошо, понимаете. Бьют нас сильно. Степин с штабной охраной шел в штыки, чтобы пробиться.

Я посмотрел на его полное лицо с хохлацкими усами.

— Вы коммунист? — спросил я внезапно,

Что-то лукавое мелькнуло в его глазах, опутанных сеткой морщин. И потухло. Минута прошла в молчании.

— Нет, — ответил он серьезно. — Я не коммунист. Но правда — с ними. Они — головотяпы еще, но, понимаете, за ними чистое дело.

\* \* \*

С вечера копошились у входа с площади на бульвар несколько человек, а утром столбиками и транспорантом высилась арка. По фронтоу была нарисована лента, а на ней надпись: „1-е мая — праздник трудящихся“. Зеленые гирлянды свисали, как бахромы театрального занавеса.

Хромой человек в шапке с наушниками и в валенках, несмотря на жару, ходил вокруг сооружения. Щуря глаза, он рассматривал арку то с одной, то с другой стороны. Это был сам зодчий, столяр Никулихин. Разрисовывал надпись тоже он.

А на самой площади поставили помост — трибуну.

К 12-ти часам состоялась демонстрация. Во главе процессии шел Гусев, Чугуев, Амелаев, потом организация, воинская часть, отдел снабжения, разные другие

учреждения. Красные флаги лениво плескались в воздухе. Шествие оставляло за собой хвост подсолнечной шелухи. Зеваки шли по бокам и стояли вдоль дороги.

Начался митинг. На помост выходили разные люди, один за другим, и, размахивая руками, говорили о пролетариате, о буржуазии, об империалистических паразитах, о всемирной революции. Облако затянуло небо, и побрызгал дождичек. Пыль покрылась язвочками, а потом замесилась в грязь.

Собравшиеся начали расходиться.

Я разыскал Румянцева. Он и Поломейко куда-то торопились, и лица у них были озабоченные. На ходу, не останавливаясь, Румянцев передал мне, что есть приказ Командарма грузить немедленно санитарные учреждения и вывозить раненых и больных. Шипякову соответствующее распоряжение уже было сделано.

— Это еще не катастрофа, — на мой вопрос ответил он. — Но положение, понимаете, внушает опасение.

Поломейко оборвал разговор. Он схватил начснана за руку, и они почти побежали. — Приходите вечером! — крикнул мне Румянцев. — Сейчас некогда.

Они спешили на прямой провод.

Пыль улеглась под летним дождем, коротко пролившемся. Освеженный день был ярок. На бульваре началось гуляние. Женщины стояли у ворот и лузгали семечки. Мне показалось, что взгляды некоторых провожали меня с злорадством.

— Ну, ничего, — подумал я, чувствуя нечто вроде злости. — Мы еще увидим, чем кончится. — Я вспомнил занятие Калединым Ростова в декабре 17 года и слова Жука: „мы еще придем“.

Дома я велел Алексеевне достать чемодан и привести его в порядок. Эта новость обрадовала Анну Ивановну. Благодаря мне, она была защищена от трудовой повинности, от реквизиций, от обложений, от вселений, но все же красные лишили ее источников дохода. Перемена же власти приносила ей возврат прав. Открываются магазины, заколоченная пекарня и пустые амбары снова будут у нее заарендованы.

Я сказал, что теперь мой отъезд неизбежен.

Анна Ивановна задумчиво покачала головой.

— Не даром, значит, Семеныч приходил справляться насчет пекарни. Чует человек. Да и по всему видать, что надо красным уходить.

Я хитро прищурился.

— Мы уйдем, но мы можем еще и вернуться. А? Как вы думаете, Анна Ивановна?

Она замахала руками.

— Нет, не надо, тогда окончательно пропадать придется, — с испугом сказала она. — Только не будет этого, не вернуться вам больше сюда. Теперь казачки поумнели, больше не пустят к себе коммуны. А знаете что, — сказала она вдруг тепло, — не уезжайте вы, оставайтесь и ничего вам не будет. Ведь вы же никого не обидели, да и прислало вас сюда зимой само ж начальство. Еще награду дадут. Оставайтесь.

Я рассмеялся. А она обидчиво замолчала.

После обеда я занялся выкладками. Надо было подготовить план и порядок вывоза госпиталя. Я чертил цифры подвод, имущества. На бумаге складывались ровные столбики. Потом цифры стали путаться, набегали ненужные мысли, и я выводил, как в забытьи, какие-то слова и фигуры.

В сумерках пришла Анна Дмитриевна Томилова. Она была взволнована. За нею жалась какая-то старушка. Я всматривался в эту женщину, и лицо ее показалось мне знакомым.

— Лев Семенович, — сказала Томилова. — Только на вас вся надежда. Вы один, если захотите, сможете помочь этой женщине. Это — мать Днепровой.

Старушка вытащила платок и приложила его к глазам.

Анна Дмитриевна рассказала эту историю.

В шестом классе гимназии, во время перемены, кто-то повесил на доске кусок красной материи и внизу написал мелом „долой красную тряпку“. Какими-то путями это дошло до чека. Агент Литченков явился производить дознание. Два гимназиста были арестованы.

Но класс отрицал виновность задержанных.

Тогда агент предложил виновнику назвать себя. Это необходимо только в интересах истины. Добровольное саморазоблачение не будет наказано, а невинные будут освобождены.

Ирочка Днепрова выступила вперед и подняла руку. Она немного знала Литченкова, и Литченков знал ее. Она ему нравилась. На бульваре он пробовал с нею знакомиться.

Гимназисты были освобождены. По делу же Днепровой началось следствие о контр-революции. Литченков вел дознание и, оставаясь наедине с Ирочкой, говорил ей о любви. Вызовы же на допрос производились обычно ночью.

В связи с событиями на фронте чека готовилась к эвакуации. Дом заключения и тюрьма отправлялись в первую очередь. Так как дело Днепровой не было закончено, Литченков распорядился сегодня утром ее арестовать, чтобы продолжать следствие в глубоком тылу.

Старушка громко всхлипнула.

— Подумайте! — сказала она убитым голосом. — Девочка одна, ее увезут от меня, что с ней будет? Она пропадет, погубят ее эти нехорошие люди. Помогите, доктор, ради старости моей, ведь она у меня единственная.

Она зарыдала.

Я ее успокаивал, говорил, что все сделаю, постараюсь освободить дочь.

Я проводил этих женщин до двери. Старушка прижимала платок к лицу и вздрагивала. В сумраке их фигуры медленно пересекали двор.

Вечер был тосклив.

На столе лежал исчерченный лист бумаги. Я перевернул его и принялся заканчивать план эвакуации.

\* \* \*

Зеленый берег обрывался у самых степен. Борт парохода „III Интернационал“ тянулся коричневым забором в обе стороны. На земле были сложены матрацы, кровати, кучи белья. По шатким мосткам бегали санитары. Распоряжался Суровикин, молчаливо и серьезно заведывавший погрузкой.

Имущество госпиталя грузилось на пароход. Человеческий же материал транспортировался на подводах

в сторону Арчеды. Отправка шла партиями. Намечалось отделение, подбирались персонал: санитары, сестры, врач, администраторский состав, устанавливался комплект подвод. В назначенный час все должно было быть на месте.

Первый опыт прошел удачно. Реальное училище опустело в несколько часов. Были с утра суета, крики, беготня, ржанье лошадей. Потом обоз, роняя солому, растянулся по улице. В хвосте шли санитары. Отдельный фургон был навьючен пожитками сопровождавших. Квартирмейстером поехал Ильин.

Последняя подвода скрылась за углом, и наступила тишина. Какие-то тряпки, обложки, доски остались на тротуаре. Здание с открытыми кое-где окнами выглядело сиротливо.

Ветер подхватил обрывок бумаги и катил его по дороге. Кто-то забыл или выронил письмо, испещренное каракулями, — письмо из деревни. Кому-то дорогое, оно теперь было брошено в пыль. Мне почудилось в этом нечто схожее с моей судьбой. Порыв войны катил меня по лицу земли.

Это было позавчера.

Вчера уехали Народный дом и Интендантство. На рассвете началась возня, а к утру уже никто не остался. Доктор Ветров и два фельдшера поехали на Есауловскую, к передовым частям, откуда прислали за медицинским отрядом.

Сегодня я проводил Епархиальный дом и Распределительный пункт. Врачи уходили со своими больными. Облако пыли поднималось на дороге. Пространство поглощало их.

Оставалась еще только Гимназия. Завтра, вместе со мной, этот остаток нижнечирского заразного госпиталя покидал станицу. Смерч кружил по России и тащил нас с собой.

От парохода я пошел за новостями в „штаб-квартиру“, как называлось общежитие снабженцев, где всегда можно было узнать о последних событиях. Отдел уже свернулся. Кассовая часть еще позавчера пошла на Арчеду. Даже для меня, незнакомого с законами войны, это означало глубокий отход. Оставшиеся пока сотрудники сидели теперь дома.

Здесь я застал Шипякова. Он только-что вернулся из штаба дивизии и завтракал на веранде. В открытые окна смотрели разросшиеся кусты сирени.

— Завтра же, завтра, — сказал он, запивая чаем огромные бутерброды. — Завтра же, чтобы и вы выехали. Мы катимся безостановочно. Вот вам предписание.

Он отодвинул тарелку, нож, вытер пальцы о скатерть и достал блокнот. Я получил приказ закончить полностью эвакуацию 4-го мая.

Фронт отходил. Белые отряды прорывались в нескольких местах и сеяли панику. Затребованы были подкрепления. По слухам новая дивизия целиком спешно перебрасывалась в район станицы.

Где-то хлопнула дверь, и из коридора высунулась голова Поломейко. Он только что приехал и был очень возбужден. Его взгляд торопливо обежал комнату.

— Линке, где Линке? — спросил он быстро. — Нужно, чтобы он сейчас же выезжала. Наша подвода идет на Ляпичево, потом ее трудно будет отправить. Надо же позаботиться...

Он пошарил взглядом в саду. Глаза его были в темных кругах бессонницы. Светлые усы топорщились в разные стороны.

— Вы транспорт весь получили? — спросил он меня, входя в комнату. — Я выделял для госпиталя все, что мог.

Шипяков сказал ему о распоряжении завтра отправить последнее отделение госпиталя. Поломейко вдруг поморщился.

— Нет, нет, — запротестовал он. — Надо оставить маленький санитарный труппа. Могут быть бой около станица. Пусть имущество и больные отправят, а немного персоналу задержится.

Шипяков согласился. Я тоже думал, что это целесообразно.

— Вчера пришли моторные лодки с Калача, — сказал мне Поломейко. — Вы уедете с нами после всех. Где же Линке? — снова забеспокоился он.

Он пошел в комнаты. Опять захлопали двери. И донесся голос Поломейко: — „Линке... товарищ Линке... товарищ Линке...“

Шипякову принесли яичницу. Я распрощался с ним. На улице, у ворот, в фаэтоне сидел Румянцев, только что подъехавший. Поломейко разговаривал с ним, держа в руке куски телеграфной ленты. Поткатился по лицу Румянцева. Было жарко. В сухом воздухе еще не улеглась пыль, поднятая колесами экипажа.

Я подошел.

— Яков Иоганнович, — сказал я Поломейко. — У меня есть просьба.

И я рассказал ему историю гимназистки Днепровой. — Это такой безобразия, — возмутился он, когда я кончил, — что невозможно терпеть его. Я приму меры.

Румянцев побагровел. Он свирепо замахал своими короткими руками.

— Это недопустимо — сказал он обычной скороговоркой. — Сейчас решительный момент, понимаете, и не нужно раздражать население. Подобные молодцы дискредитируют советскую власть. По дороге на пристань мы заедем в чека и разберемся, а вы, как свидетель, с нами, — сказал он, отодвигаясь к краю сидения. Поломейко примостился на скамеечке напротив.

В доме чека был настоящий разгром. В огромной комнате столы были сдвинуты с места, папки валялись на полу, в углах кучами были брошены какие-то узлы. Начальника долго разыскивали. Я подошел к окну. Во дворе стояла толпа, разно одетая, — мужчины и женщины. Их окружал конвой. Откуда то выводили еще других и присоединяли к ожидавшим. Я догадался, что арестованных готовили к отправке. Среди них должна была быть и Днепровая.

Высокий человек в кожанке быстро вошел в комнату.

— Товарищ Иевлев, — набросился на него Поломейко, — что у вас такое за дело? Это же безобразия, хватать детей, пользуясь паникой, чтобы создавать разврат. Орган диктатуры должен вырывать подобных лиц железной рукой.

Человек в кожанке развел руками,

— В чем дело, товарищ? — сказал он недоуменно. — Я не понимаю.

Вмешался Румянцев. История Днепровой снова была рассказана.

— Товарищ Иевлев, — добавил начснаб. — Надо же, понимаете, иметь голову на плечах. Помимо беззакония, нужно учитывать и обстановку. Кругом, понимаете, восстания, а подобные факты только разжигают население. Девочка должна быть немедленно освобождена.

Иевлев кусал губы. Лицо его, исковерканное шрамом, насунилось.

— Литченков сволочь, — пробормотал он. — Поганую овцу из стада вон. Ишь, что выдумал.

Засовывая в рот нервно ус, он что-то записал себе в книжку.

На крыльце я пожал руки начснабу и комиссару. Когда они садились в фаэтон, из переулка, поднимая пыль, показалась колонна пехоты. Шеренга за шеренгой обтекали угол. Шинели были скатаны по походному. Впереди отдельно шли двое.

Ряды поровнялись с крыльцом. Румянцев крикнул:

— Какой части, товарищи?

Один из передних повернул голову. Затем, молодецки выпрямляясь, громко ответил:

— Второй бригады одиннадцатой дивизии.

Поломейко радостно сказал:

— А, это подкрепление. Значит прислали свежий батальоны.

Мы расстались. Фаэтон исчез в клубах пыли.

## 6.

Загорелись первые звезды. Листья деревьев стали черными. На дорогу легли светлые полосы, пробившиеся в щели ставен. Вечер упал на землю.

Я стоял около домика с кривыми ступеньками и как будто выжидал. В этой наступающей ночи было что-то раздражающее. Сердце беспокойно стучало. Гонимый будоражащим томлением, я пришел к домику Томиловых. Закрытое занавеской окно было освещено и глядя на светлый четырехугольник, я ощутил безотчетное волнение.

Что-то скрипнуло. Может быть, дверь. Мне показалось неловким стоять так под окном — вдруг кто-нибудь выйдет и увидит меня. Я толкнул калитку и поднялся по шаткой лесенке.

В кухне и в комнате было чисто и опрятно. Всюду лежали салфеточки. Семья была в сборе и ужинала.

Больная давно выздоровела и, вместе с Ириной Александровной, служила в госпитале. Теперь обе они входили в мой врачебный отряд. Жалованье, пайки и разновременные пособия создали Томиловым некоторый достаток. Они уже не нуждались так жестоко, и с лица Анны Дмитриевны сошло озабоченно-унылое выражение. Щеки петербургской девочки горели румянцем здоровья.

Анна Дмитриевна расспрашивала меня о событиях. Было ясно, что военное положение радовало ее. Я отвечал неохотно, отговариваясь неведением. Неразговорчивость свою я объяснил головной болью.

Когда я поднялся, Ирина Александровна вышла со мною. Мы пошли по темным улицам. Станица засыпала. Звезды дрожали на небе, как угольки камина сквозь пепел. Я говорил все, что приходило в голову, все эти глупости, которые произносить, когда хочется близости, все, что минутно и звучит так правдоподобно.

Отошли куда-то события, белая и красная армии, Дон, Россия, революция стала, как крошечная точка, а светловолосая женщина была, как мир, который нужно завоевать.

Мы шли прямо, не сворачивая. Я говорил, а она слушала, улыбалась иногда движением губ, казавшимся загадочным.

Потом улица вдруг разорвалась, потянулись какие-то сады, потом темнел домик, плетень, прыгала на цепи собака и хрипло лаяла. И опять пустыри. И опять домик.

Стали попадаться холмики. Деревянные кресты тут и там низко пригибались к земле. Иногда камень давил возвышение, хранившее тело. Высокие кресты походили на людей, расставивших руки в необычайном сне. Бесшумно проносилась тень, обдав мягко струей воздуха; вероятно, летучая мышь. Ветки шуршали под ногами. Кладбище стыло в молчаньи.

Ирина Александровна прижималась ко мне.

— Вам страшно? — спросил я тихо.

Она ответила шопотом:

— Нет, но одна я сюда ни за что не пришла бы... Это целый город мертвых.

В этом шопоте было что-то интимное, словно рождалась между нами тайна.

Одинокое дерево, окутанное мраком, поднималось у чьей-то могилы. Мы остановились. Огоньки станицы золотыми бусами на черном бархате горели далеко за нами.

— Смерть не всегда страшна, — сказал я, трогая ее тонкие пальцы. — Поэты и те, кто любят, лучше знают об этом. Когда счастье безмерно, хочется умереть. Не даром говорят, что бывает „хорошо до смерти“. Влюбленные блуждают по кладбищам, где на них нисходит очарование мечты. И сейчас, здесь вот, с вами, среди этого царства мертвых, я чувствую, как во мне нестерпимо это желание любви.

Я притянул ее к себе и жадно и долго целовал. Мои руки сошлись за ее спиной и я с такой силой прижимал несопротивляющееся тело, что оно казалось бессиленным. Тогда я опустил ее на землю. Запах гниющей травы был терпок и дурманил. Я обхватил ее голову и мучил эти по-детски еще пухлые губы.

Ее дыханье обжигало меня. Напряженно выгибаясь, она тянулась ко мне. Зрачок неподвижно блестел. Я вдруг почувствовал приближение необычайной радости. Тишина зазвенела сверкающей пустотой. И мир поднялся мгновеньем, сладостным и острым, как боль.

Время остановилось.

Внезапно в тишину упали звуки. Они чередовались быстро-быстро, точно старались перегнать друг друга. Это металлическое стрекотанье было назойливо и неустанно.

С трудом овладев собою, я прислушался. Я оторвался от побледневшей женщины, от этого сомнамбулического лица. И в ту же секунду вернулась ночь, небо с звездами над головой, терпкая земля и дерево, простиравшее в высоте над нами ветви. А звуки все летели в стремительном чередовании.

И вдруг я узнал этот ритм. Где-то цокал пулемет.

\* \* \*

Дверь на блоке поминутно хлопала. Входили все новые и новые люди. Другие — выходили. Комната,

тускло освещенная, была полна. Много курили и воздух был как из желтой ваты.

На скамье, в углу, свесив ноги в сапогах, спал Поломейко. Он дышал неровно, иногда вздрагивал и бормотал. Лицо у него было блеклое, измученное; складка у рта резко вырисовывалась. Его мучили сны. Двое суток он провел на ногах и теперь свалился под общий шум и говор.

Входившие останавливались у стола, где сидел Румянцев, и докладывали. Начснаб выслушивал, подняв глаза, говорившего и тотчас отдавал распоряжения. Одновременно левая рука совала в рот бутерброд, а правая бегала по бумаге.

Костюм начснаба был необычный: кожаная рыжая куртка обтягивала толстое туловище, сапоги, похожие на охотничьи закрывали колени. Массивный живот был туго схвачен поясом. За поясом торчали—с одной стороны маузер, с другой—ручная граната. Усы вились воинственно.

У телефонного аппарата возился черный человек. Он крутил поминутно ручку.

— Морозовская!..—кричал он, покрывая все голоса, в эбонитовый раструб. — Торопите с погрузкой снарядов!.. Что?.. Да, да... Станция Чир... Состав ноль ноль два на Рычково... Что? А?.. Не слышно... Что?.. О, черт!

Он бешено завертел ручкой. Его голос, пронзительный и раздраженный, разносился в табачном воздухе с силой сирены.

Хлопнула дверь. Стуча сапогами, вошли два красноармейца. Оба они были очень молоды. Со скатанными шинелями и загорелыми лицами, они, казалось, вернулись с бодрящей прогулки. Толстый слой пыли на ногах говорил, однако, о долгом марше.

У стола Румянцева они выпрямились. Один, приложив руку к козырьку, сказал громко:

— Командир третьего батальона. Честь имею явиться в ваше распоряжение, товарищ начальник укрепленного района.

Румянцев устало держал ладонь у правого уха. Потом пожал руку представлявшемуся.

— Хорошо, очень хорошо. Видно, прямо с дороги. Подождите моих распоряжений. А вы кто, товарищ?

— Политком батальона! — стремительно ответил второй.

У телефона черный человек надрылся:

— Да, да... Морозовская!.. А? Что? Да слушайте же!.. Примите воинский... состав восемь вагонов!.. подкрепление? Да, да... Близко?.. Хорошо, держитесь... готовим еще состав... Что? Подходит к станции?.. Примите все меры... Что?.. Слушаю!.. слушаю!..

Он кричал в трубку, дергая головой, точно клевал в отчаянии черный кружок. Потом обернулся к Румянцеву. Я узнал глянцевитое лицо Тера.

— Напирают казаки,—надорванным голосом сказал он, ероша волосы. — Надо продвинуть помощь во что бы то ни стало.

Лампа горела тускло; не хватало керосина. Углы заткались темнотой. Поломейко тяжело вздыхал во сне. Люди сидели у стен, понурив головы на грудь и дремали. Иногда кто-нибудь громко кашлял. Другие перебрасывались короткими фразами. Было около полуночи. Я закрывал глаза и тогда мне казалось, что все это — хрипенье зверя, загнанного в капкан.

Я подошел к Румянцеву. Командарм назначил его в последнюю минуту начальником укрепленного нижне-чирского района; теперь все донесения поступали к нему и от него шли распоряжения. Это помещение было его штабом. Поломейко — комиссаром.

Пулеметную стрельбу Румянцев объяснил мне случайно прорвавшимся разездом.

— Идите спокойно спать, — сказал он и зевнул. — Сейчас непосредственной опасности нет, вряд ли она наступит и завтра, понимаете? Во всяком случае, у меня все готово для отъезда на моторных лодках, вы и ваш отряд тоже с нами. Здесь ваш адрес, — хлопнул он по блокноту, — и вы своевременно будете извещены, понимаете? Затрещал телефон. Тер схватил трубку.

— Слушаю! — кричал он, — Морозовскую... да, да... высланы! Бой у станицы? Дождитесь подкрепления... Два батальона срочно... Что?.. Что? Слушаю!.. Что?

Он бросил с злобой трубку.

— Там паника, — глухо сказал он, ни к кому не обращаясь, — это черт знает что... Посылаем второй эшелон, а они не могут восстановить положение.

На коричневом лбу прорезалась складка, под стянутыми бровями горели глаза. Ворот рубахи был не то расстегнут, не то разорван, и шея белела неожиданно и нежно.

Он снова завертел ручку и начал вызывать Морозовскую. Но никто не отвечал. Румянцев повернул к нему голову.

— Плохо дело, — сказал начснаб раздумчиво и пощипал усы. — Надо во что бы то ни стало выяснить, понимаете? Оттуда до Чирской рукой подать, и мы попадем в петлю.

Он встал, подошел к Полемейко и начал его тормошить. Комиссар наконец сел, ломаясь туловищем. Взгляд у него был тупой. Потом он вдруг сообразил, дернул головой и, слегка шатаясь, поднялся.

Вдруг аппарат зазвонил настойчиво, резко. Тер, точно его ударили, подскочил.

— Алло!.. Морозовская!.. — закричал он в трубку. — Да!.. Белые отошли?.. Хорошо, товарищ!.. Еще? Очень трудно?.. Потери?.. Хорошо... постараемся дать...

Лицо Тера разгладилось.

— Благоприятные вести, — сказал он веселей, подходя к Румянцеву и Полемейко. — Морозовская держится, казаков отогнали далеко. Только вот потери большие, — помолчав, добавил он сокрушенно. — Просят еще эшелон.

Я вышел на улицу. Было тихо и тепло. Воздух зеленоваты светился от взошедшей луны. Светлые и черные полосы рисовали на земле неподвижные узоры. От упорной духоты комнаты ныла голова. Мысли возвращались к недавним объятиям, и я вспомнил, как у калитки глаза Ирины были тревожны и счастливы. И тут же путалось лицо Тера с диким взглядом и крик: „Тогда отрежут, отрежут нас, тов. Румянцев!“

Я чувствовал почему-то, что если нас еще не отрезали, то завтра, наверное, отрежут. События развертывались как-то молниеносно. От этих мыслей холодок подбирался к сердцу. Успокаивали меня только моторные лодки. Я их видел у берега. Они вытягивались одна за другой, как четыре хищные птицы, сложившие крылья.

Около двухэтажного здания стоял человек с винтовкой. Я всмотрелся в темные очертания фигуры. За ней

поднималась стена с окнами, забранными решеткой. Милиционер стоял на посту у арестного дома. Он показался мне забытым, одиноким, предоставленным самому себе. Я придвинулся к нему ближе.

— Уходите, — сказал я. Уходите к себе, к своим. Когда все побегут, вас забудут. Ведь казаки на носу. По движению, которое он сделал, видно было, что у него те же мысли.

Человек потоптался на месте.

— Не полагается, — сказал он каким то обмякшим голосом, несколько не удивленный обращением постороннего. — Должен на посту стоять.

Мне стало жаль его, слова выходили у него дрожащие, неуверенные, шаткие.

— Как хотите, — сказал я. — Да ведь и охранять нечего, пусто там, никого нет.

Я пошел дальше.

Через несколько шагов я оглянулся. Милиционера уже не было. Можно было смутно различить удалявшееся пятно.

Улицы были пустынные и тихи и прятались в темноте. Только вверху высоко звезды горели расточительным сиянием.

\* \* \*

Я проснулся от сильного стука в дверь. За стеной Анна Ивановна кричала Алексеевне: „Закрывай ворота!“ — Горошачья дробь выстрелов сыпалась в комнату через открытое окно. Потом стрельба оборвалась и стало пугливо тихо. На часах было пять, раннее утро. И сейчас же, раздирая чудовищные лоскуты жесткого полотна, прорвался треск пулемета.

Я вскочил и мгновенно оделся. Мне казалось, что бой идет уже около дома.

В две минуты я добежал до штаба начальника укрепленного района, который я оставил всего несколько часов тому назад. На улице было пусто и выскочив из ворот, я догадался, что стрельба за станицей, еще не близко. Помещение, где еще так недавно люди сидели, разговаривали, ели, спали, спорили, было молчаливо и зияло раскрытыми дверями, окнами. Оно было брошено, как бросают второпях вещь, еще не использован-

ную. Телефон стоял на столике, валялись тетради, в углу под скамьей торчал приклад винтовки. Все говорило о бегстве, паническом, неудержимом.

Я понял, что я забыт, как эта винтовка, казавшаяся такой ненужной.

В квартире Румянцева ко мне на стук вышла хозяйка. Она была в капоте, волосы, на спех заколотые, свисали на шею узлом.

— Где Румянцев?—повторила она мой вопрос.— Их нету. Никого нету. В три часа ночи прибежали как ошалелые, схватили вещи и подались к Дону.

Я стоял ошеломленный. Как сквозь туман виделись мне моторные лодки, рассекающие течение реки.

— А за мной не посылали?—растерянно спросил я.

Она махнула рукой. Другой поддерживала капот на груди.

— Разве же им до вас было? Со мной попрощаться не успели, двух слов не сказали. Вот дела,—вдохнула она.— Жизнь стала каторжная, ни сна, ни порядка, не знаешь, чего и ждать.

Затихшая стрельба опять возобновилась. Но теперь она доносилась глуше, замирающе, как будто удаляясь. Я быстро решил. Бежать! Во что бы то ни стало!

Я помчался в Гимназию. Из всего отряда в дежурке оставался фельдшер Ермаков, да во дворе на линейке сидел мужичек и чесал спросонья бороду. Ермаков обрадовался моему появлению. К госпиталю он пристал еще месяца три тому назад, один из первых, никто так и не допытался, где его родина. Узнав, что я собираюсь ехать, он охотно присоединился ко мне.

К счастью, владелец линейки, прикомандированный к отряду Снабжением—мужичок, чесавший спросонья бороду,—оказался чужаком. Издалека, из-за Калача, его гнало течение войны. Словно выполняя повинность, обязательную, неоспоримую, он натягивал хомут, выправлял шлею, супонил, прилаживал чресседельник, поплеывая на ладони и на сыромять. Я сбегал за чемоданом. Ермаков приволок зачем-то походную сумку и мешок с медикаментами.

Затарактели разбитые колеса. Линейка катилась по улице к шоссе, но в обратном к Есауловской направлении. Мы ехали к переправе через Дон. Выстрелов

не было. Из ворот выглядывали, оттянув слегка каляжку, любопытные. Прохожие не попадались. Утро наступало жаркое, разнеженное. Жемчужные облака тянулись к югу.

Последние домики остались позади. Каменная гладь шоссе ровно бежала к горизонту. Далеко слева, чернея щетинисто зарослями, провожали шоссе холмы, сливавшиеся в сплошную возвышенность.

Станица, удаляясь, уже окутывалась дымкой утреннего тумана.

Вдруг под откосом я увидел человека. Он лежал на земле неподвижно, точно спал. Поза была свободна и беззаботна, а сам он походил на красноармейца.— Если,—подумал я,—он спит, значит опасность не близка.— Ермаков сидел по другую сторону линейки и что-то перебирал в сумке, где вместо инструментов лежали его пожитки.

Сажени через три после красноармейца лежал вытянувшись на спине еще один. Нога его была подвернута, а рука отброшена в бок. Положение было очевидно очень неудобно для сна, так что становилось непонятным, зачем человек разлегся таким странным способом. И вдруг, напрягая зрение, я увидел тонкую черную струйку, пачкавшую землю и расплывавшуюся пятном. Она вытекала из шеи, из того места, где загар отделялся от молочно-бледной, странно бледной кожи.

Это лежал убитый. Рядом с ним, согнувшись, был еще один. И еще... и еще... И по мере того, как, расхлябанно позванивая, линейка катилась по шоссе, вдоль него на откосе, вытягивалась параллель мертвецов, ужасный ряд тел, точно полоса ржи, срезанная ровным взмахом косы. Это внезапное открытие ошеломило меня. И мое движение по шоссе было похоже теперь на кошмар во сне, когда какая-то сила тянет к пропасти и нельзя удержать бег.

Донесся стон. Кто-то шевелился в этом страшном строю, очевидно раненый, еще живой. И я усилием воли вернулся к действительности. Мужичок натянул возжи и лошадь стала. Я и Ермаков соскочили с линейки.

Молоденький, весь в веснушках, солдат тяжело дышал и стонал. Он был без сознания. Его рука у самого

плеча была раздроблена и уже раздута обрывками мышц и сукна, слепленных кровью. Из мешка с медикаментами Ермаков вытащил бинты, а я наложил перевязку, туго перехватив руку поближе к ключице, чтобы сдавить артерию.

Недалеко стонал другой. Мы пошли вдоль ряда, от одного к другому, выискивая еще дышавших, наклоняясь над ними со своим спасительным мешком. Вслед за нами не отставая, катилась шажком линейка.

Число лежавших казалось бесконечным. Лица их были как будто знакомыми, и я угадывал в них вчерашние батальоны. Было несомненно, что они шли или отступали в полном порядке, и неприятельский пулемет, незаметно взгромоздясь на один из холмов слева, срезал их стройный ряд.

Сколько прошло времени — я не знал. Ермаков наконец поболтал в воздухе пустым мешком, в котором не оставалось уже ни одного бинта ни одного куска марли или ваты. А между тем конца скошенной шеренги не было еще видно. Солнце поднялось высоко, и от земли шел травяной запах. Но теперь к этому запаху как будто примешивались густые липкие ароматы испарений крови.

Мужичок с линейки что-то крикнул и начал делать нам какие-то знаки. Мы бросили бесполезный теперь мешок и поднялись на шоссе. — Поглядите барин, — сказал мужичок, ткнув вперед рукой. — Что это за народ?

Далеко впереди на шоссе темнело пятно. Оно двигалось. Оно приближалось к нам от того места, куда мы ехали. — от невидимого Дона, от переправы на Чир. Близорукость мешала мне разглядеть его. Ермаков, приложив руку козырьком ко лбу, сказал:

— Конные, человек пять-шесть. Только не пойму, — кто?

Кто же это мог быть в самом деле? Они ехали оттуда. Значит красные. Но зачем красные будут возвращаться, когда в станице никого нет? И такой ничтожной группкой? Конечно, может быть и разведка? Но это странно.

А если это казаки? Мамонтовцы? Я буду захвачен, значит, в тот момент, когда оказывал помощь боль-

шевикам. Ведь они, конечно, видели, что мы здесь делали. Если это так, то мне не сдобровать. Лучше всего вернуться в таком случае немедленно в станицу.

Стоя у линейки, я ждал чего-то. Чего? А вдруг красные? Но это было бы просто чудом.

Ермаков резко повернулся ко мне и сказал коротко: — Казаки. Должно, разбезд.

Эти слова наэлектризовали меня. Я набросился на мужичка. — Обрати, скорей обратн! — крикнул я, стиснув зубы.

Линейка повернула. Кучер нахлестывал изо всех сил. Я как будто заразил его своим волнением. Раза два кнут стегнул меня по щеке. Лошадь мчалась галопом. Железные винтики, гайки, рессоры дребезжали неистово. Ермаков, уцепившись за поручень и выкрутив назад шею, не спускал глаз с темного пятна.

— Скачут! — крикнул он мне.

Я толкнул кучера. — Гони! Гони же! — заорал я в самое его ухо.

Вдруг фельдшер схватил меня за руку. — Винтовки снимают, беда! — прокричал он.

Я обернулся. Теперь я увидел их. Игрушечные всадники мчались за нами. Они росли с каждой минутой.

— Гони! — крикнул я бешено. — Гони во всю! До первого дома!

Станица приближалась. Мужичок наотмашь бил лошадь кнутовищем. Линейка прыгала по кочкам, как будто хотела вырваться из под нас.

Белые дымки вспухли около всадников и в ту же секунду, от шоссе, у колес, сбоку, впереди поднялись тоненькие фонтаны пыли. И сейчас же донеслись издали четкие круглые звуки.

Ермаков смотрел на меня безумными, остановившимися глазами. Я понял, что в нас стреляют.

Мгновенно со мной произошло что-то необыкновенное. Я сидел на линейке, уцепившись за перекладину, но ноги мои вдруг как бы обрели отдельное существование. Они хотели бежать. Это было ощущение фантастическое, какое я больше никогда в жизни не испытывал. Я знал, что лошадь бежит быстрее, что надо сидеть, но ноги словно отделялись от меня. Их воля

была как бы независимой от моей воли. Я терял над ними власть. У них был свой разум, непреодолимый, всемогущий, опрокидывающий мою логику. Это был инстинкт, тысячелетний, дочеловеческий, зов миллионов существований, звериная жажда жизни.

Тогда, напрягая последние усилия, я вдавился пальцами в перекладину. И усидел.

Пули бились о шоссе. Но уже мелькнул пустырь. Навстречу справа и слева бежали первые домики. Вымершая улица наполнилась звоном и лязгом. Круто свернув на всем ходу, линейка влетела в переулок. И стала. Тяжело вода взмыленными боками, лошадь споткнулась и упала, раздув веером пыль.

Я соскочил с сиденья одним прыжком и бросился к воротам. Они были заперты. Около меня смертельно-бледный держался Ермаков. Я свирепо забарабанил кулаками в калитку.

— Стой! Стой! — крикнул кто то с улицы. Голос был чужой, повелительный, злой.

Я оглянулся.

В просвете переулка вырисовывались конные фигуры. Лошади показались мне непомерно высокими, апокалипсическими. Это были наши преследователи.

Потрясая винтовками, они окликали нас, Я почувствовал, что все кончено.

— Сюда, мать вашу, идите! — крикнул тот же голос. — А то перестреляем!

День стоял яркий, голубой. Я хотел жить. Жизнь казалась прекрасной, непревзойденной.

Я поднял голову и пошел к ним.

Когда я был уже близко, передний верховой наклонился ко мне. Я увидел на его плечах погоны.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

СНОВА СО СВОИМИ.

Меня и Ермакова доставили в штаб полка, верстах в трех от станицы. Казаки сказали:

— Там разберут, кто вы такие. А чемодан мы сами сдадим.

Сказавший улыбнулся себе в бороду.

Офицер с круглым молодым лицом расспрашивал меня. Разговор был поверхностный. Я сказал ему, что я врач и был оставлен в станице полк. Генераловым с больными при январском отступлении. Офицер сидел в седле на прекрасной рыжей кобыле, а я стоял перед ним в пыльных ботинках. Весь полк был в походном строю, но не двигался, выжидая чего-то. Офицеры проезжали, задерживая лошадей, а вся конная масса шевелилась на месте, незаметно распolzаясь по зеленой равнине.

Ермакова отослали к старшему врачу полка. Меня же офицер, задумавшись на минуту, велел двум казакам сдать в станице коменданту, только что назначенному. Оказалось, что Нижнечирская уже занята частями, подошедшими из Есауловской.

Мужичек с линейкой исчез. Мои конвоиры были на седлах, а я шел между лошадиными мордами. Верхние были довольно добродушны. Один курил козью ножку, густо окуривая бороду и усы желто-серыми клубами. Ноги у меня ныли, и все хотелось присесть. Дорога казалась бесконечной.

— Откуда вы идете? — спросил я, стараясь разговором сократить путь.

— Откуда? — переспросил бородач, словно не зная, ответить или нет. — Откуда? Да из Морозовской, — наконец, решил он.

Я вспомнил Тера и телефон.

— А большой бой был у Морозовской? — спросил я снова, стараясь ввести в голос располагающие к беседе интонации.

Он смачно сплюнул.

— Нет, бой был самый малый. Он не ждал совсем, как мы наскочили. Кто убежал, а кого захватили прямо голыми руками. Телефониста сняли с самого аппарата. Ну и дела были, — покачал он своей кудрявой бородой. — Телефон трещит, трещит. Наш есаул к телефону: — кто такой? — „Это мы, красные. Как у вас там, не надо ли подкреплений?“ — Надо, — говорит есаул, — дюже надо. Шлите скорей. — „Да мы уж послали“. — Мало, — говорит есаул. — Давайте еще, держаться трудно. — Подходят к станции их эшелоны, вагоны стоп, а мы уже на изготовке: — „Пожалуйста, мол“. Ну, они руки вверх и прыг из вагонов. Смехота! Много народу забрали вчера.

Он пыхнул остатком козьей ножки. — Бедный Тер, — подумал я.

Мы вошли в станицу.

Улицы были оживлены. Наряды, которые пришлось прятать несколько месяцев, украшали теперь женское население со всей крикливой пестротой. Кокетливые шляпки, яркие платки, светлые зонтики мешались в толпе праздничным узором. Среди жителей уже мелькали погоны. Многие останавливались и с удивлением смотрели на меня и моих казаков.

Комендант занимал помещение чека. Я увидел по дороге белое здание Гимназии. Скоро должен быть и дом Анны Ивановны. Мне живо представилось, как она стоит у ворот и смотрит, пораженная, на необычайное зрелище. Я поднимался на цыпочки, чтоб отыскать знакомую калитку.

Внезапно по толпе как будто пронеслось какое-то дуновение... Далеко, в конце широкого проспекта, где плыла живая рябь голов, вдруг стал обнажаться тротуар. Людей как-будто сметало невидимым вихрем, они словно испарялись. И это шло как электрическая искра,

все ближе и ближе. Гуляющие бросились в переулки, в калитки, в первые попавшиеся двери с диким выражением испуга в глазах, с неожиданно перекошенными от ужаса лицами.

В минуту улица опустела. Я не успел еще ничего сообразить, как остался один. Мои конные спутники, гикнув, повернули лошадей и поскакали обратно, поднимая взметнувшуюся пыль. Лошади, распластанные галопом, вздыбились на повороте улицы и исчезли, точно унесенные смерчем. Я был один в мертвой пустынности проспекта.

Рассеянные хлопки выстрелов долетели до меня. И в этот момент я увидел далеко-далеко впереди, где дома правой и левой стороны сливались в серое пятно, внезапно вырвавшуюся черную лавину. Гул нарастал, как отдаленный гром. Он перешел в грохот. Что-то бешено крутясь, пыля, сверкая, сотрясая землю, гремя неслось на меня.

Это неслась волна конницы. Я сбежал с дороги и прижался к какой-то стене. Я искал какую-нибудь дыру, чтобы спрятаться от этой сокрушительной ревущей силы. Желтая калитка бросилась мне в глаза. Это были ворота Анны Ивановны. Я вскочил во двор и захлопнул за собой дверцу.

Весь воздух наполнился звенящим громом. Тысячи молотков ударяли яростно о камни и мололи гранит. Над этим звуком копыт рвался вой сотен голосов. Исступленный крик бороздил воздух. Потом, удаляясь, весь этот ураган начал ослабевать. И стих.

Это прорывался сквозь донские части кавалерийский отряд красных.

Анна Ивановна остолбенела, увидев меня. Я свалился к ней в дом, точно принесенный этой бурей.

Узнав о моих приключениях, она всплеснула своими пухлыми руками. Больше всего ее огорчила гибель чемодана со всем моим имуществом. Она сейчас же крикнула Алексеевне ставить самовар.

Из кухни прибежала, шлепая туфлями, Алексеевна, и, подпершись рукой, разглядывала меня, как диковинку.

Я протер глаза. Все казалось сном. Человечья сжатая полоса у шоссе, потом бегство, обстрел, захват,

арест, ворвавшийся гром, и вдруг — как ничего не бывало. Я сижу на веранде, хлопчет за столом щекастая, дородная женщина, мирно шлепает Алексеевна. А за окнами тишина, со двора из тени тянет прохладой, свежей, бодрящей, напротив у сарая роется петух, идиллическое спокойствие разлито на занавесочках, на горшках с цветочками, на зеркале, убранном расшитым полотенцем.

Кипящий самовар зашипел на столе.

Я опять рассказывал Анне Ивановне детали утреннего отступления.

На полуслове я вдруг прислушался. Слух мой за последние дни обострился, стал собачьим. Глухой шум, как ворчание, зародился в тишине. Я различал среди неопределенного рокота звуков знакомые удары выстрелов.

И вдруг загремело, загрохотало. Топот копыт, ожесточенная стрельба и крики внезапно выросли на улице. В станице шел бой. Гул бушевал, как пожар.

Анна Ивановна вздрагивала при каждом залпе и быстро-быстро крестилась. Мы оба замолчали, напрягая слух. Я хотел понять происходящее. Вероятно, красной группе не удалось прорваться, ее оттеснили обратно, и теперь она металась по станице, сжатая между двумя ударами противника.

Как потом оказалось, я почти угадал. Главная масса кавалерии пробила себе выход к Дону и ушла, остальные, оторвавшись неловким маневром от ядра, покатались назад, отбиваясь от наседавших донцов.

Анна Ивановна подскочила на стуле. Залп треснул, точно свинцовый горох рассыпался. Я сказал, стараясь быть хладнокровным:

— Не волнуйтесь. Так или иначе все скоро закончится.

Сейчас же послышались удары. Кто-то тяжело бил по дереву. Стучали в ворота. Затакал пулемет. Голоса дико ревели. В общем хаосе я разобрал:

— Открывайте! Ворота открывайте!

Прибежала Алексеевна с дрожащей челюстью. Анна Ивановна прошептала:

— Никак к нам... Господи, пропали! Что делать?

Крики становились неистовыми, звериными, путаясь с грохотом ударов и выстрелами. И вдруг я уловил в диких всплесках голосов настойчивое повторение:

— Доктора давайте! Ворота откройте! Доктора нам! Доктора сюда!

Мне стало трудно дышать. Вероятно я неудержимо бледнел, как мертвец, потому что Анна Ивановна, отшатнувшись, уставилась на меня испуганно. Крики все свирепели, они упрямо требовали, грозные, неукротимые. Ворота трещали.

Я понял, что дальнейшая оцепенелость не принесет пользы.

— Это за мной, — почему-то шопотом сказал я. — Алексеевна, откройте ворота.

Анна Ивановна, словно сообразив, наконец, бросилась ко мне.

— Спрячьтесь... спрячьтесь... — повторяла она задыхаясь.

Но прятаться было безцельно. И некуда. Я оценивал положение с быстротой молнии.

Выстрелы и крики стихли. Алексеевна открыла ворота.

Через двор бежали к веранде огромные фигуры в барашковых шапках. Грузный топот ног по ступенькам продолжался секунду, двери со звоном разлетелись в обе стороны. На порог вскочил казак, за ним другой. Сизовато-черный отлив стали блеснул в руках переднего. Он вытягивал ко мне револьвер. Лицо его было взъерошено и искажено.

— Доктор — я! — сказал я. — Что вам угодно?

Несколько казаков с револьверами и винтовками шумно ввалились на веранду. Кто-то из них крикнул тем, кто был за дверью:

— Есть. Нашли!

— Что вам нужно? — повторил я.

Первый, вскочивший на порог, с двумя поперечными нашивками на погонах, всмотрелся в меня.

— Братцы, — сипло сказал он. — Да он, верно, жид.

Он схватил меня за руку и рванул к себе.

— Ах ты, жид, — со злобой выдавил он. — Идем!

Меня окружили и потащили. Я не сопротивлялся.

Анна Ивановна бросилась ко мне с криком. Ее от- тиснули. Вспышка молнии ослепила меня и оглушила. Выстрел был у самого уха.

Меня вытолкнули во двор.

Тоска, острая как жало, мгновенно проникла в сердце.

Петух, вереща крыльями, носился, как угорелый, у сарая.

\* \* \*

Еще гремели выстрелы в разных концах. Но бой шел уже где-то в стороне. Изредка на взмыленных лоша- дях скакали казаки. Кой-где у ограды бульвара лежали убитые.

Трое верховых гнали меня. Я шел быстро впереди них по середине Баклановского проспекта, но казаки кричали на меня, торопя. Первый момент опасности миновал. Если меня сразу же, как только вывели на улицу, не ухлопали, — значит, еще есть надежда. Я осмелел и при каждом покрякивании огрызался.

— Ну! — наезжая на меня лошадиной мордой, крикнул один из казаков. В ухе у него качалась мед- ная серьга. — Ну, не приставай! <sup>1)</sup>

Он взмахнул рукой с револьвером. Я повернул к нему на ходу голову.

— Какое вы имеете право меня гнать так? — сказал я протестующе. — Я доктор, а вы со мной, как с раз- бойником.

Он свирепо выкатил глаза.

— Не разговаривай! — заревел он, натягивая повод. Окованные копыта поднялись надо мной. Комья пены полетели мне в лицо. Чтобы не быть сшибленным вздыбившимся конем, я отскочил и ускорил шаг.

У кирпичной стены интендантства они вдруг оста- новились. Недалеко под деревом лежал человеческий труп.

— Стой! — крикнул казак с серьгой. Он перебросил ногу и, ухватившись за луку, соскочил легко с седла. — Здесь!

<sup>1)</sup> „Не приставай“ — казачье выражение: не останавливаться.

Остальные тоже слезли с лошадей. Они надвину- лись на меня. Я очутился у стены.

— Снимай спинжак! — коротко крикнул казак с серь- гой, очевидно верховодивший всем. — Да живею воро- чайся, чорт! — угрюмо выругался он.

Я все понял. И как ни странно — я чувствовал, что это не может быть смертью. Смерть! Казалось, все при- готовления ясны; я был один во власти силы, которая могла уничтожить меня без малейших затруднений, которая хотела этого. Я был обречен. И тем не менее страха во мне не было. Смерти не может быть. Ка- ким-то непостижимым путем я это ощущал. Почему? Не знаю.

Я проворчал сердито, пожимая плечами:

— Чорт знает что! Ни с того, ни с сего...

Пиджак перешел в руки казака с серьгой. Его товарищ, коренастый, неуклюжий, повертел мою фу- ражку и примерил на своей голове. Результат его, видимо, удовлетворил.

Из-за угла вывернулись два всадника. Они подъ- ехали к нам. Один спросил:

— Что такое братцы? Куда ведете?

Тот, с серьгой, ответил:

— Ведем... — его палец неопределенно покачался в воздухе. — ...туда.

Между ними завязался разговор. Кончилось тем, что казак с серьгой нехотя сказал:

— Ладно, давайте пакет, отвезем. А вы берите этого.

Новый конвой свернул налево и, так же торопясь, погнал меня по Шоссейной улице. Скоро, очевидно, им это надоело. Уже через квартал произошла оста- новка. Они соскочили с лошадей.

— Деньги давай, — потребовал один. А другой, раз- двинув губы в улыбке, добавил: — Ботиночки ничего. Дай примерить. — Сейчас же лицо его скомкалось сви- репо. — Оглох, что ли? Снимай!

Из бумажника я вынул документы, драгоценные приказы Полякова и Генералова. Пока я расшнуровы- вал ботинки, подъехали еще двое. Тотчас между преж- ними и прибывшими возник оживленный обмен мнe- ний. Забрав бумажник и ботинки, первые двое повер- нули обратно. Мною завладела третья очередь.

Эти были грубы и злы. Один был маленький, какой-то приплюснутый, с редкой бородкой, и он беспрерывно, словно из личной ненависти, осыпал меня отвратительной бранью. Глаза второго были пронзительны, его взгляд как будто вдавливался в мое тело, щупал и шарил во мне, а седловидный нос, изъеденный дурной наследственностью, как будто нюхал воздух своими торчащими стоймя ноздрями. Он поминутно сплевывал желтоватую слюну и кадык, огромный, как кулак, метался по его ящерообразной шее. Эти двое ненавидели меня.

И я вдруг притих, как будто угас под этими звериными, сдержанно-исступленными взглядами. Босой, полураздетый, я шел по пыли. Солнце жгло голову, но я не чувствовал зноя.

Дорога вела к байке. Темная трещина земли казалась мне страшной. Как загипнотизированный, я смотрел на змеившуюся полосу оврага, словно изгрызанного обвалом. Они вели меня туда.

Недалеко от мостика на земле лежали беспорядочно люди. Вблизи я увидел, что это были трупы. Их было много на этом месте казни. И только здесь, впервые, меня охватил настоящий страх смерти.

Тот, с кадыком, бросил повод и с винтовкой в руке подошел ко мне. Губы, серые, потрескавшиеся, сплевывали слюну. Своим чудовищным кадыком он угрожал мне. Я отступал. Маленький крикнул пронзительно:

— Штаны скидывай, сучья кровь, сволочь окаянная...

С какой-то мучительной ясностью метнулась мне в глаза яркая зелень деревьев по ту сторону обрыва, белый дом на скате с завешенными окнами. И голубое небо, опрокидываясь, пронеслось в вышине.

Вдруг маленький перестал кричать. Оба казака вытянулись.

Сверху, по дороге спускалась кавалькада офицеров. Копыта гулко и сыровато затоптали по деревянному настилу моста. Несколько выдвинувшись, на серой в яблоках кобыле впереди ехал генерал. Ему было на вид не более 30 лет. Рядом с ним двигался другой всадник в погонах полковника. Вся кампания, человек восемь—была оживлена. Слышался говор, иногда смех.

Было ли это спасение? Но никто даже не взглянул в мою сторону. Должно быть, эта картина была им знакома и не отвлекала ничьего внимания. Они уже лоровнялись с грудой мертвых тел.

Тогда я неожиданно вышел на дорогу и поднял руку навстречу ехавшим. У меня был странный вид, должно быть. Генерал задержал лошадь. Все остановились.

— Господин генерал, — сказал я отдельно и громко, со злостью. — Я врач, оставленный в январе по распоряжению окружного атамана в станице с больными. Теперь же со мной творят безобразие. Я прошу вас прекратить это издевательство.

Генерал пальцем почесал себе щеку около уха. Серебро погон сверкало на солнце. Прошло несколько секунд. Затем шпора, мелодично звеня, тронула серощелковый бок кобылы.

— Полковник, — отъезжая проронил небрежно генерал. — Распорядитесь доставить его в арестный дом для выяснения.

\* \* \*

Толпа заливала площадь. А с противоположной стороны подходили, колонна за колонной, вступающие полки. Все возвышения были утыканы любопытными. Мальчишки громоздились на деревьях. Платочки мешались с шляпками, картузы — с шапками.

Войска выстраивались в центре. Они были одеты в английские френчи. Офицеры же в бриджах, высоких шнурованных ботинках, в фуражках с прямыми козырьками, выглядели иностранными атташе.

Подходили новые части. Сюда же приводили красных, взятых в плен.

Огромная площадь казалась тесной. Ряды войск становились гуще, жители напирали все тесней, подталкиваемые вновь прибывающими.

Вдруг по толпе прошло движение. Головы зашевелились. На середину площади выехал, медленно качаясь в седле, генерал с длинными, свисающими на воротник усами. Немолодое лицо его было высокомерно и решительно; презрительная гримаса кривила рот. Несколько офицеров сопровождало его.

В толпе зашептались: „...Мамонтов... Мамонтов“.

Въехавшие остановились перед колоннами войск. Генерал что-то сказал. Ему ответил глухой перекаты-вающийся рокот:

— Здра-жлам-ваш-ство!

Близ стоявший офицер подъехал к генералу и приложил руку к козырьку, выслушивая приказание. Затем он повернулся и кому-то махнул рукой. Тотчас кучи людей, плохо одетых, полуодетых, в отрепьях стали придвигаться к стройной линии полков. Пленных выстраивали перед Мамонтовым. Число их было огромно. Армия побежденных стояла перед армией победителей. За ними теснились плотным кольцом зрители.

Было три часа дня. Небо голубело, прозрачное, и, казалось, благословляло всю эту суету.

Генерал тронул лошадь, и она почти вплотную ткнулась мордой в дрожащее человеческое месиво. Седок вытянул руку и остановил палец на одном из пленных.

— Откуда? — спросил он негромко, показывая крепкие белые зубы. Брезгливая гримаса у рта обрисовалась резче.

Круглоголовый парень в разорванной заплатанной гимнастерке испуганно замигал льняными ресницами. Он переступал с ноги на ногу и молчал. На шее генерала над тугим воротником медленно вздувалась вена. Брови его почти незаметно сдвинулись.

— Какой губернии? — тем же тоном спросил он снова.

Лицо пленного прояснилось. Теперь он понял и сказал, как будто обрадовавшись:

— Минской я. Из Полесья, белоруссин значит.

Взгляд генерала стал жестким.

— Так ты из Белоруссии пришел на Дон грабить? Взять! — отрывисто приказал он.

Офицер со взводом казаков, наезжая на зевак, двинулся вперед. Толпа подалась, увеличивая расстояние между собой и войсками, и снова застыла. Пленный из Белоруссии вышел из рядов и стоял теперь на опустевшем месте.

— Откуда? — отъехав спросил генерал пленного со смуглым, как будто обожженным лицом. Тот вздрогнул и побледнел.

— Из Житомира, — ответил он, картавя, — но ей-богу, что я мобилизованный...

Глаза генерала блеснули, ноздри узкого с горбинкой носа раздулись. Он сделал рукой движение в сторону белоруса. У пленного дрожали губы, он дернул туловищем вперед, точно хотел еще что-то сказать. Но к нему придвинулся офицер, только что очищавший площадь, и крикнул повелительно:

— Выходи!

Как-будто с трудом отдирая ступни от земли, пошатываясь, пленный сделал несколько шагов. На худых ногах жалко болтались брюки, снизу оборванные. Он стал рядом с белоруссом.

Генерал продолжал медленно двигаться вдоль скопанных рядов красноармейцев. Покусывая удила, лошадь мотала головой и косилась кровавым глазом. Потом она замирала на месте. Рука Мамонтова вытягивалась и палец, нацелившись как ястреб, застыл над дрожащей линией голов. Слышалось негромкое:

— Откуда?

Гортанные, шипящие, шепелявившие, ломавшие язык голоса отвечали. И от рядов, по одному, по двое, отрывались испуганные люди. Кучка около белоруса увеличивалась непрерывно.

В воздухе загудел колокол. Низкий бархат меди расплескался над площадью. Волны, замирая рокочущим стоном, уносились в голубой простор. В церкви шла благодарственная служба.

Генерал остановился против пленного, похожего на грузина, и вытянул к нему палец. Услышав благовест, Мамонтов, уже открывший рот для вопроса, остановился. На сухие, надменные черты напозла умиленность. Рука, державшая поводья, стянула с головы фуражку. Вытянутый палец подогнулся, приблизившись к двум соседним. И движением трех пальцев, сложенных в одно, генерал перекрестил молитвенно грудь.

В это время в толпе зашумели. От угла площади, как от удара камнем по воде, распространялось какое-то волнение. Головы поворачивались в ту сторону. Сквозь человеческую толщу пробиралось несколько вооруженных казаков. С гиканием вели они высокого человека

с тонкой талией и раздвоенным подбородком. Куртка на нем была разорвана и из-под нее виднелись лоскутья нижней сорочки.

— ...Комиссара поймали... Главного... Главного ведут, — шептались кругом.

Оставляя за собой след голов, как мина оставляет гребень пены, эта кучка пробралась на свободный клочек площади и вышла к Мамонтову. Грузин, понурился, стоял уже там, где были белоруссы и другие, и вздрагивал своим подтянутым, хрупким телом.

Огромный вахмистр поднес руку к шапке.

— Красного поймали, вашество, большака, — широко осклабившись, доложил он.

Человека с тонкой талией толкнули, и он очутился впереди всех. Лошадь, храпя и мотая мордой, косилась кровавым глазом. Человек закашлялся, выплюнул красную слюну и согнулся от боли. Его ударили в спину и встряхнули. Он выпрямился с усилием.

Вибрирующие раскаты колокольного звона мягко умирали в воздухе.

Генерал задвигал усами.

— Кто такой? — спросил он.

Человек смотрел перед собой отсутствующим взглядом. Потом он медленно, как бы с натугой, поднял голову. И ничего не сказал. От правого виска к щеке налипла кровь, запекаясь, бурая. Волосы свисали на глаза.

— Ну! — крикнул Мамонтов. Его рука сжала нагайку.

Человек пошатнулся. Веки, прозрачные, почти синие, опустились. Кровавая полоса запылала на алебастровом лице. Казак, стоявший сзади, подхватил его.

Генерал разжал пальцы.

— Отведите его ко мне! — приказал он. Вахмистр вытянулся.

Тени удлиннились. Площадь пустела незаметно. Офицеры становились у полков. Смотр кончился, Мамонтов со штабом двинулись к церкви. Пленных окружили вооруженные.

В стороне, отдельно, кучка отобранных безмолвно сгрудилась. Проезжая мимо, Мамонтов вдруг задержал коня. Взгляд его из-под насупленных бровей как бы пронзил это жалкое сборище. Затем он обвел пове-

лительно рукой сжавшуюся толпу, как бы заключая ее в невидимый круг.

— Повесить... — процедил он сквозь зубы. — Сегодня же!

Рядом стоявший офицер почтительно поднес руку к фуражке.

\* \* \*

По дороге меня встретил Михайленко. Он охнул, подбежал и, не обращая внимания на конвой, засыпал меня вопросами. — А я думал, — сказал он, — что ты уже далеко, где-нибудь за Царицыном. Мерзавцы, — выругался он, оглядывая меня. — Как же они тебя общипали. Однако, надо бежать тебя вырывать.

Я удержал его.

— Позволь, Кронид, ведь ты же эвакуировался еще третьего дня со своим отделением. Как же ты здесь?

Он шевельнул хитро губами.

— Ну, да, стану я болтаться по дорогам к чортовой матери. Довольно с меня и одного раза. Мы же все вернулись, и Ветров, и Дилле, и Рудков, и другие, с первой же остановки.

Вскоре он принес коменданту записку с печатью, а для меня ботинки, гимнастерку и фуражку. В записке стояло: — „Препроводить ко мне. Мамонтов.“ Казак с винтовкой провожал меня. Я шел с Михайленко уже не по дороге, а вдоль домов, и мы делились впечатлениями дня.

От него я узнал, что Мамонтов остановился у доктора Ветрова, с дядей которого, влиятельным членом Войскового Круга, Поповым, он был в хороших отношениях. Собственный дом генерала, занятый под откомхозовский склад, был приведен в негодность. Сам же Ветров, боясь расплаты за службу у красных, уже поспешил записаться добровольно врачом полка. — А мне наплевать, — сказал Михайленко. — Ни в полк, ни к чорту другому, не пойду. — Он лечил всегда жену Мамонтова и был уверен в своей безнаказанности. Благодаря этому же обстоятельству он надеялся и на благоприятный исход для меня.

У Ветрова было шумно и людно. Во дворе ржали нерасседланные лошади. В коридоре сидели, развалившись, на ступеньках и на скамьях офицеры и вооруженные казаки. Горничная Ветровых пробегала каждую минуту во внутренние комнаты и за ней, провожая ее и встречая, взлетал хвост шуток и восклицаний. Мой караульный остался у входа. Михайленко потащил меня дальше.

Ветров встретил нас несколько растерянно. Видимо, он не знал, как держаться со мной, чтобы это не повредило ему. Мне стало неловко его смущения и скрытой досады. Я поздоровался как ни в чем не бывало.

В большой комнате-гостиной Мамонтов и еще один офицер сидели за столом, уставленным закуской и графином водки. Жена Ветрова, похожая на курсистку, со странными, светлыми, как будто дикими глазами, разговаривала с ними. Пушистые усы генерала змеились по щекам. Он улыбался, казался моложе, чем на площади, добродушнее. Наше появление вышло как-то незамеченным. Тогда Михайленко, оставив меня, подошел к столу и, закрывая от меня своей спиной генерала, что-то сказал. Я услышал чужой голос:

— А-а, это интересно. Где же он?

Михайленко отодвинулся. Слегка нагнув вбок голову, Мамонтов внимательно смотрел на меня. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и дымил папирсой. Выпитая водка делала его взгляд блестящим.

Я подошел и начал говорить об обстоятельствах моего оставления в станице. Но генерал прервал меня:

— Нет, нет, это потом. Вы вот что мне скажите: зачем они этот конгресс в Базеле собирали, а?

Я спросил:

— Кто собирал?

Он, улыбаясь, помахал пальцем, коротким, как огурец:

— Ну, да не притворяйтесь. Это все евреи знают. А всякий еврей — сионист. Ведь вся революция и большевики — от этих конгрессов. Еврейские банкиры хотят уничтожить Христа и свою веру утвердить на земле. Вот они и начали с России, с православия. Просто и ясно. Да, да.

Я слушал недоуменно.

— Господин генерал, — сказал я осторожно, — я не думаю, чтобы это была правда. Если вас интересует мое мнение, то я считаю эти сведения измышлением. Вы введены в заблуждение.

Мамонтов неодобрительно усмехнулся:

— Ну, уж простите! Какое тут заблуждение, когда в газетах подробно пишут о постановлениях и съездах Всемирной Еврейской Лиги, которая Троцкого и Нахамкеса прислала в Россию. Протоколов базельских конгрессов никуда не спрячете. Все евреи одного поля... А книгу Нилова небось не знаете? — иронически и сердито спросил он, шевеля усами.

Вмешался Михайленко.

— Ваше превосходительство, — сказал он деловито, — надо доктору дать назначение в лазарет... или в полк, — добавил он, следя за нахмурившимся лицом генерала.

Мамонтов вскинул на него глаза. Глубокая борозда между бровей выразила его недовольство чем-то.

— Не могу, — сказал он скупой, отворачиваясь от меня. — Он арестован. Его задержали не просто должно быть.

Михайленко зло скривил губы. По этой grimase, мгновенной и выразительной, я почувствовал искренность его участия. Мне почему-то стало жалко самого себя и захотелось расплакаться. Кронид вытащил платок и засморкался, очевидно, в надежде выиграть время.

Вошел офицер и вытянулся перед Мамонтовым:

— Позвольте доложить. Комиссара привели, — сказал он по-военному звучно.

Топоча сапогами, три казака ввели высокого человека с тонкой талией. Из-под разорванной куртки болтались лохмотья нижней сорочки. На щеке чернела кровь и волосы свисали беспорядочно на глаза. Глядя на него, генерал качал ногой в лакированном сапоге, закинутой на ногу.

Полусвет приближавшегося вечера падал на вещи и на людей, скрадывая очертания. Но лицо с кроваво-черным шрамом страшно и дико светилось, как будто оно стягивало к себе все лучи и отражало их, как в фокусе. Человек в разорванной рубашке стоял,

подогнувшись на стройных ногах. Его глаза под спадавшими волосами были глазами уставшего зверя.

Мамонтов встал с кресла и, засунув руки в карманы, подошел к пленному.

— Ну, как комиссарствовал? Расскажи? — спросил он с издевкой. — Сколько православной крови выпил? Человек тихо ответил, как-будто жалуясь:

— Я не комиссар... Я мобилизованный... и насильно.

Генерал раздвинул губы. Было непонятно, скалил ли он зубы или усмехнулся.

— Фамилия? — резко спросил он, выпрямляясь.

Человек незаметно повел плечами.

— Осипов, — тихо сказал он.

Генерал повертел в стороны головой. Его взгляд наткнулся на Ветрова.

— Доктор, — сказал он ему, — кто этот человек?

Ветров вздрогнул от неожиданности. Потом ответил тусклым голосом:

— Это начальник милиции. Он у меня реквизировал сани.

Генерал, не вынимая рук из карманов, подошел в плотную к Чугуеву. С минуту он пристально разглядывал его, точно желая уколоть взглядом. Ноздри генерала раздулись. Потом он выронил:

— Сволочь... Гад...

И, вытащив правую руку, ударил ладонью плашмя по щеке стоявшего.

Человек пошатнулся, но остался стоять. Жена Ветрова вскочила, прижалась к стене, безмолвно, с выражением ужаса на лице.

— Отправить к тем... к своим, — сказал брезгливо Мамонтов. Словно счищая пыль с колен, он провел рукой по лампасам и снова сел за стол.

Наступило молчание, в котором раздавалось только топание ног уходящих.

Михайленко мучительно сжимал брови.

Вдруг генерал как будто нечаянно поднял на меня глаза. Его лицо выразило изумление, точно он не ожидал увидеть меня.

— Увести же доктора к коменданту, — сказал он нетерпеливо офицеру.

По дороге Кронид утешал меня. Это — временно, дело одного-двух дней, надо потерпеть, он добьется моего освобождения во что бы то ни стало, как только вернется жена Мамонтова. Казак с винтовкой апатично шел сзади.

Уже легли сумерки на улицы. На проспекте было большое оживление. Но прохожие куда-то спешили, все в одну сторону. Мы шли в том же направлении, к коменданту.

И вот мы увидели. На деревьях висели люди. Это были казненные. Как необычайные плоды, свисали они с толстых, корявых веток. Их лица в темнеющей зелени были плоски, белы, равнодушны, словно они были вырезаны из картона. Босые ноги неправдоподобно вытягивались. Руки были связаны за спиной. На каждом дереве было по одному. И они тянулись вдоль бульвара, как фантастическая выставка чудовищных кукол. Дети, женщины ходили мимо, останавливались, передвигались от одного к другому.

Мы приблизились к крайнему. Около него еще возились казаки. Его штаны оттянулись книзу и над черной линией пояса желтела резко кожа живота. Еще выше шевелились по ветру лохмотья нижней сорочки. А на худом лице, с запавшими щеками и выдавленным раздутым языком, справа от виска к раздвоенному подбородку чернела запекшаяся кровь и волосы низко свисали над глазами.

2

Косые лучи дрожали на полу. На дворе был солнечный день. Клочек голубого неба виднелся в окнах, забранных решеткой.

Надзиратель прошел по коридору. „За кипятком! За кипятком!“ скрипел его голос, удивительно напоминавший скрип мачты в железном обрезе. Ключем он бил о металл двери. Это был знак дежурным.

Вся тюрьма проснулась. Проверка кончилась. Старик Кудинок, мой сосед, зевал и, почесывая под рубашкой, рассказывал рябому Капрову сон. Тот тоже зевал и мигал безбровыми, всегда как-будто удивленными глазами.

Я лежал на нарах и мне в голову приходили те же мысли, которые были у меня каждое утро. Около трех недель длилось уже заключение. Неделю я сидел в арестном доме при коменданте. А потом внезапно меня вызвали в Управление милиции округа. Грузный мужчина, лохматый и черный, с водяночным лицом, задавал мне вопросы о моей дружбе с комиссарами, о прогулках с ними верхом, о том, кем было испорчено пианино Тарасова, и чьим распоряжением квартиры Тарасова была отведена под канцелярию госпиталя. Человек, который вел допрос, был помощник Тарасова. Я понял, что Иван Ефимович вернулся, нашел квартиру занятой чужими столами, имущество — вывезенным, и теперь готов был мстить первому встречному. Я же был главным врачом госпиталя. Следовательно, ближайший виновник найден. Пергаментное лицо Тарасова встало передо мной.

Под конец грузный мужчина порылся в папке и вытащил склеенный листок, исписанный, как отчет. В заголовке стояло: „Список военнослужащих, оставшихся от белых банд“. Я вспомнил, что по такой форме, затребованной военкоматом, я давал когда-то справку о себе и персонале госпиталя. Кто-то подчеркнул синим карандашом „белых банд“.

— Это ваша подпись? — спросил помощник Тарасова.

Я кивнул головой. Почерк был мой. Он огорченно покачал головой, словно сострадал мне в этом тяжком мною совершенном преступлении. Я понял, что мой поступок в глазах властей беспримерно тяжел.

Из милиции меня непосредственно приняла тюрьма. Когда я запротестовал, ссылаясь на мое звание военного врача, и потребовал отправления в комендатуру, водяночный человек ответил, что таково личное распоряжение начальника окружной милиции. Фамилию Тарасова он избегал называть. Я снова понял, что мое положение отягчено ожесточенной злобой моего бывшего хозяина.

Кованная калитка растворилась. Вихрастый привратник, совсем молодой парень, щегольского писарского вида от блеска голенищ до маслянистого чуба, принял меня под расписку. В две минуты был сделан

обыск. Я вывернул карманы, поднял руки. Узелок с простыней, одеяльцем, тремя книгами Реклю, крохотной подушкой, полотенцем, двумя носовыми платками — подарок Михайленко — был разобран, фуражка опущена. Потом угрюмый караульный повел меня коридором и лестницей во второй этаж. Надзиратель равнодушно вытер усы и, звеня связкой ключей, отпер камеру. Замок щелкнул звонко, торжественно...

Комната выглядела огромной. Однообразие обстановки удручало в первое же мгновение. Вдоль трех стен — нары из побуревшего дерева. На краю нары сидели люди.

В первую минуту все они показались мне свирепыми. Обитатели камеры были полуодеты. У некоторых на ногах — сапоги. Остальные — босы. Мгновенно я обежал их взглядом. Я был, должно быть, ошеломлен. Поэтому, вероятно, я почувствовал в этих людях что-то разбойничье. Это было ощущение чело- века, брошенного в волчью яму.

Я вспомнил рассказы про обычаи тюрьмы. Новичка бьют, издеваются над его неопытностью и страхом. Если он кричит, его бьют еще больше. Если он жалуется начальству, его избивают до полусмерти. И я стоял на месте, как приклеенный, с фуражкой в одной руке, с узелком в другой, словно не был в состоянии отлипнуть от закрывшейся двери. А с трех сторон, справа, слева и прямо передо мной, двадцать шесть пар глаз держали меня под обстрелом.

Но стоять долго — выходило совсем глупо. Как только отзвенело щелканье замка, я сделал несколько шагов. Кругом заговорили. Рябой человек с приплюснутым носом, похожий на цыгана, подошел ко мне. Только был он не черный, а светлый. Редкие усы топорщились. Он сказал:

— Ты не бойся. Не убьем.

Я беспомощно оглянулся и сказал:

— А где же мне место?

Теперь я начал различать лица. Они оказались обыкновенными человеческими лицами. Старик с окладистой бородой в пестрядиных кальсонах отодвинулся.

— Ничего, примощайтесь, — сказал он просто. Голос у него был ласковый. — Как-нибудь... Теснота у нас большая.

Цыган не отставал от меня и как-будто искал что-то во мне своими безбровыми глазами. Я присел на краешек нары. Цыган сплюнул и отошел. Все это было безобидно, но мне его движения показались имеющими смысл, пока еще для меня непонятный.

Старик спросил меня, кто я. Я сказал: доктор. Он пошамкал удивленно губами. — Скажите на милость, каких людей хватают, — повертел он пораженно головой. Потом жалостливо добавил: — Мы темные, хрестьяне. А вам эта тяжесть будет гордая. — Старик про себя говорил — хрестьянин Кудинок. А цыгана фамилия была Капров и он был агентом продовольственного отдела, реквизируя скот по хуторам. Около них я и устроился.

И теперь, проснувшись, я думал, как и каждое утро: — когда же это кончится? Забыли про меня, что ли? Ни следствия, ни допроса, ни суда. Что угодно, только не это тягучее неопределенное ожидание. Я даже не знал точно, как сформулировано мое обвинение. Четыре заявления о вызове меня к следователю, которые мною были поданы, как-будто канули в лету.

— ...Только я сиганул, милый, к забору, — рассказывал Кудинок свой сон, — глядь, а это не забор. Лежит, значит, штука полотна самого знатного. Потянул я к себе, а ее, милый, конца краю нет...

Капров зевнул и почесал ногой об ногу. Потом он повернулся на бок и, глядя на немолодого казака с веселыми глазами, сказал:

— Декохт трещит. Аж бурлит в кишках.

Тот достал крынку с простоквашей. Тридцатилетний Капров с восемнадцати лет был знаком с отсидкой. Жаргон у него был великолепный.

\* \* \*

Со двора донеслось:

— ...Васильев Семен... Афонин Петр... Грязнов Лукьян... Еропков Сергей... Начевашин Ермолай...

Голос то затихал, то крепчал. Тот, кто кричал, ходил от одного угла корпуса до другого. Это был

час вызова в военно-полевой суд. Заседания начинались в 9 утра. В чистоте наступающего дня голос был звонок и ясен.

Окна, выходящие во двор, залепились головами заключенных. Я поднялся на цыпочках и мимо железных перекладин смотрел на широкую расчищенную площадку, где кучкой стоял конвой и ходил помощник начальника со списком. В стороне, у полосатой будки, часовой с ружьем задумался, опершись на столб. По другую сторону, ближе к забору густо зеленеет трава. Напротив приплюснулась, как бы спрятавшись под стеной контора. Привратник у калитки скучно перебирал ключи.

Вызов кончился. Смуглый, домовитый Еропков, хозяйственный крестьянин Липовского хутора, старался быть спокойным. Он аккуратно натянул сапоги, разгладил направо и налево волосы и тылом ладони провел по усам.

Хромой Никулихин, столяр и живописец, взятый за первомайскую арку, пожал ему руку.

— Иди, милый, не бойся, — сказал столяр певуче и нежно. — Делов за тобой нету.

Чудесный энтузиаст человеческий, Никулихин своей кудлатой, всклокоченной бородой и голым черепом напоминал Сократа. Он был ласков и утешающ со всеми.

Собиравшийся неловко улыбнулся. Он повертел шапку в руке и сказал с запинкой:

— Время очень уж лихое. Хозяйство загублено, боюсь, что дадут много годов. Вот ведь без вины сколько маюсь.

Худой и костлявый Ланзот, заведывавший коммунальной мельницей, подошел ближе и похлопал Еропова по плечу:

— Бог не выдаст, свинья не съест. Идите, не волнуйтесь. Говорят, сегодня председательствует Васильев. — И добавил задушевно: — Желаю вам полного оправдания.

Коридорный стукнул дверь. — Выходи, выходи живей, — проскрипел он, как мачта на ветру.

С Еропковым отправился и Юганов, красивый молодой казак. Этот был грустен и задумчив. Под

глазами легли темные полосы. Он был бледен, молчалив и его никто не утешал. Знали, что смертный приговор был неминуем для него, как для казака-большевика, уже давно разыскиваемого.

В камере стало тихо и сдержанно. Эти минуты, когда за уходящими, визжа на петлях, крутилась дверь, были торжественны и немного жутки. Этот час ждал нас всех. Каждого в это раннее утро подстерегала за дверью судьба. Сегодня из нашей — седьмой — камеры брали мало: — только двух.

В коридоре послышалась возня. Принесли кипяток. Дежурные по камере, два человека, — слесарь с землечерпалки из-под Калача и Сидченков, — втащили бак с горячей водой. Капров лениво, с развальцой, подошел сзади к Сидченкову и незаметно подставил ножку. Тот споткнулся. Губы Капрора под редкими усами сложились в усмешку, и он не мигая смотрел на неуклюжего дежурного. Сидченков поднял обидчиво плечи и промолчал.

Капров скучал. Он встал с левой ноги, его светлые глаза были сухи и злы. К тому же от последней передачи уже ничего не оставалось, и нельзя было теперь наесться до сыта, до тяжести в желудке. После чая он снова наткнулся на Сидченкова. Раскрасневшись и причмокивая, дежурный ел булку с овечьим сыром и запивал ее водой.

— А свидетели были? — спросил Капров, облизывая губы.

Сидченков знал этот вопрос, и еще другие вопросы, и все, что за ними следовало. Прожевывая кусок, он выговорил примирительно:

— Чего цепляешься, Василий?

— Какой я тебе Василий! — ощерившись сказал Капров. — Господин Капров я тебе, взяточнику!

Цепкими, как у обезьяны, руками он ухватил голову Сидченкова и начал ее трясти. Брызги слюны и сыра полетели из рта дежурного. Потом Капров оттолкнул от себя, как шар, голову вздохмаченного парня.

— Голова крепкая, а может отвалиться, как бимбер от жилета, — сказал он, стихая. — Свой своему живо открумсает.

Сидченков обвинялся в получении взяток. Сам он был членом казачьего военно-полевого суда, один из тех, кто совсем недавно, вот только-что, выносил смертные приговоры сидевшим в тюрьме. Даже в одной камере с ним были осужденные тем же составом суда, в котором заседал и Сидченков. Он был веснушчатый, со вздернутым носом и синими глазами.

Мне казалось раньше, что жертвы будут травить своего палача, но я неправильно представил себе взаимоотношения судьи и подсудимого, загнанных в одну нору. Его никто не трогал. Когда над ним шутили и доводили до слез, он дулся и хмурился, но тот час же все забывал. Часто гуляли они из угла в угол, — он и кто-нибудь им осужденный, — и мирно делились воспоминаниями. Только те, кто был уже расстрелян, не могли с ним встретиться в заключении.

Он любил свою молодую жену, тосковал по ней, и был полон уверенности в скором освобождении. — Мое дело такое, — говорил он мне как-то. — Раз допросы и отпустят. Ничего этого не было и никаких свидетелей нет. Один наговор. Скорей бы допрос и суд.

В коридоре послышался топот ног. Справа отдаленно захлопали двери. Команда надзирателей мешалась со счетом проверки. Потом захлопало ближе. За стеной заговорили неясно, гулко.

Я спокойно воспринимал эту возню. Сцена, сопровождавшая приход новой партии, была мне привычна. Каждый день бросал сюда очередную щепоть людей. И тюрьма, ворча, пожирала ее.

Я встал с нар, свернул простыню и одеяло. Мне можно было уже, пожалуй, спускаться во двор. Это составляло мою случайную привилегию, так как врача в тюрьме не было, до сих пор никого не назначали, и мне предоставили право обходить камеры с аптечным ящиком. Я проводил много времени во дворе и в аптечной — проходной закутке при конторе. Здесь я доставал „Землю и народы“ Реклю и, никем не тревожимый, блуждал по всем странам света.

Грохоча ссунулся засов. Надзиратели встали у распахнутой двери. В глубине коридора темнела колонна людей с узлами и сундучками.

Помощник начальника скомандовал:

но — Заходил в минералогический кабинет  
Рослый казак первым уверенно шагнул через порог.  
Он снял фуражку и кудри золотом рассыпались по его  
лбу и ушам. \* \* \*

Двухэтажное здание тюрьмы, мимо которого я так  
часто ходил в окружную больницу, было окрашено  
в белый цвет и снаружи производило впечатление чи-  
стоты и прочности. Верхний этаж состоял из коридора  
и камер по бокам. Камеры были сухие, солнечные.  
В одном конце коридора были две одиночки. Другой  
конец замыкался окном. Короткий ход за лестницей вел  
еще в две одиночки.

Внизу была в общем та же планировка. Только на  
площадке, у самых ступеней наверх, пряталась малень-  
кая комната. Туда помещали смертников. Весь этот этаж  
был сырой, холодный, лишенный света. Камеры вверху  
и внизу были полны. В нарах ютились гомерическое  
число клопов. Большинство заключенных составляли  
крестьяне и казаки победнее. Более молодые обвиня-  
лись в службе у красных — либо на различных долж-  
ностях в управлениях, либо в рядах войск. Эти назы-  
вались большевиками.

Пожилые обвинялись в захвате земли под распашку,  
различного хозяйственного инвентаря, брошенного иму-  
щества. Все эти признаки подводили под понятие рек-  
визиции. Казак-богач уехал перед приходом Красной  
Армии. У одной из его подвод сломалась задняя ось.  
Подводу второпях бросили, сняв с нее скарб. Из сосед-  
ней хаты вышел хозяин, втянул к себе валявшуюся на  
дороге телегу, сбил новую ось. С переменной властью  
кто-то донес вернувшемуся купцу о судьбе подводы, и  
возникло дело о реквизиции. И теперь второй месяц  
Плюганков сидел в тюрьме. Этот худощавый молчали-  
вый человек с отшельнической бородой кашлял и исхо-  
дил мокротой.

В тюрьме у него открылся активный туберкулез,  
а дома хозяйство было брошено на произвол судьбы.  
В пять часов он становился на нары и смотрел в окно.  
Девочка подросток жалась у домика напротив, через  
улицу, и оттуда махала ему платком.

Это была его единственная дочь, сирота. Плюганков  
молча смотрел на нее, потом слезал и согнувшись,  
долго, надрывно кашлял.

Старики сидели главным образом за то, что были  
отцами и матерями большевиков. Если дети успевали  
скрыться и уйти от расправы, хватали родных.

Но это не были заложники. Их обвиняли в соуча-  
стии. Достаточно было найти у них стул или кнут  
чужого владельца, и дело было ясно: большевизм зара-  
зил всю семью. Деяние вполне подходило под компе-  
тенцию военно-полевого суда.

Кто изобрел военно-полевой суд, — я не знаю. Ве-  
роятно, я знал о его природе, юридической сущности  
и обосновании очень мало. Из трех свойств — скорый,  
правый, и милостивый, — одно было в нем неотъемлемо:  
он был действительно скорый. Скоростью отличалось  
именно судоговорение.

Следствие могло тянуться очень неопределенно,  
иногда два дня, иногда три месяца и больше. Но су-  
дили быстро. Обычная порция дел за день — десять, две-  
надцать. От девяти утра до пяти дня. В среднем  
30 — 40 минут на человека. Часто это был срок человече-  
ской жизни.

В состав суда входил председатель, офицер, и че-  
тыре члена из рядовых, выслуживших одну-две на-  
шивки. Вероятно, был желателен офицер с юридиче-  
ским образованием. Я так думаю. А как было на самом  
деле — не знаю. Члены же суда отличались небольшо-  
словностью. Степень вмешательства их в ход судебного  
процесса показывала, что эти люди не были одержимы  
любопытством.

Любимое слово их было слово „нет“. Оно звучало  
каждый раз, когда председатель наклонялся направо  
и налево и спрашивал:

— Не имеете ли какихнибудь вопросов?

В военно-полевом суде защитники не допускались.  
Вызовы свидетелей были не обязательны. Поэтому не  
было прений сторон. Вообще, говорилась там немного.  
Читался какойнибудь документ — донос или дознание  
милиции — затем официальное заключение судебно-след-  
ственной комиссии. Потом председатель спрашивал: —  
признаете ли вы себя виновным?

С ответом подсудимого судебное следствие кончалось. Преступнику давалось „последнее слово“. Затем конвой уводил обвиняемого. Суд совещался. Потом — приговор.

Иногда бывало чуть-чуть сложнее. Что-либо вдруг заинтересовывало председателя — может быть занятая деталь дела, может быть смешная бородавка у носа подсудимого. Тогда председатель превращался в обвинителя. Он нападал. Подсудимый, если мог, защищался. Когда председатель чувствовал себя удовлетворенным, он наклонялся направо и налево и сухим тоном спрашивал:

— Не имеете ли вы вопросов?

Перед судейским столом проходили темные люди. Тюрьма их запугала, прибила. Торжественность обстановки, конвой с шашками наголо, холодный голос председателя — все это оглушало их окончательно. Они терлись, говорили невпопад, не понимая, соглашались с казуистическими доводами обвинения. Бесстрастность тона они принимали за сочувствие. Судья не кричал, не грозил — значит судья — человек хороший. И они соглашались со всякими положениями, излагаемыми спокойно, почти ласково. Состязание между нападением и защитой было вопиюще неравно. За столом всегда сидел победитель, перед столом стоял, вытянувшись, побежденный.

Последнее слово. Затем подсудимого уводили. В зале оставался только суд. Суд совещался, а в смежной комнате сидел, потупившись, человек с ошеломленным, непонимающим лицом.

Конвойные свертывали цыгарки, курили, чесали затылки. Надоела им эта каждодневная канитель — приводить, уводить. И они изредка скучно оглядывали нахохлившуюся фигуру на скамье.

Потом звонок. Совещание кончалось. Конвойные подтягивались. Дверь раскрывалась. Человек, сидевший на скамье, вставал. Его снова вели в залу суда. Здесь он выслушивал приговор.

Самая употребительная статья была 8-я приказа В. В. Д. № 39. Ее заключительная статья говорила о лишении жизни посредством огнестрельного оружия. Но часто сейчас же вслед за приговором применялись

смягчающие вину обстоятельства. Это значит — 20 — 15 — 10 лет каторжных работ и 50 ударов плетью. Иногда цифра лет снижалась до 3 — 4 лет. Плетки же обычно оставались неизменными.

Пол и возраст не вносили особых отклонений. Старушка Сулимова, 68 лет, обвинялась в выдаче казачьего офицера. Она получила 20 лет каторги и 50 плетей. Ввиду преклонного возраста ее секли с промежутками, порциями, по 15 — 20 ударов каждая.

Я лечил ее раны, расплзшиеся по спине.

Так бывало в тех случаях, когда раздавался звонок и человека в смежной комнате звали выслушать приговор. Но иногда звонок молчал. Приговора не объявляли. Дверь открывалась и секретарь торопливо проскакивал дальше, в следующую комнату. Через минуту другая стража вводила нового заключенного. Они пересекали комнату и скрывались в зале суда. Начинался следующий процесс.

Тогда человек, ждавший в комнате перед залом заседания — когда же его позовут выслушать приговор, и не дождавшийся этого, внезапно серел и лицо его становилось сначала белым, потом пепельным, а глаза проваливались. Что произошло? Из цепи событий выпадало одно звено. Человек этот — человек без приговора.

Тюрьма знала что это такое. Без приговора — это значило смерть. Звено выпадало, и с ним выпадала жизнь.

Конвойные настораживались и трогали за плечо сутулившуюся на скамье фигуру человека, которого не позвали выслушать приговор. Он вставал и шел за этими людьми с саблями наголо в закрытую веранду. Если он был первый, то там кроме него и конвоя никого еще не было. Если уже раньше прошли до него дела, то его присоединяли к другим осужденным.

Затем ждали остальных. К концу дня здесь собирались все, кого утром вывели из белого здания с решетками на горе. И те, кто выслушал приговор. И те, кого не позвали.

Приговор, которого не выслушивали, приводился в исполнение в течение двенадцати часов.

Надзиратель открыл дверь. Из камеры ударил в нос прокисший и сырой воздух. С нар поднялись люди. Свет скудно падал через крошечные окна.

Я поставил аптечный ящик на край нары. Тотчас подошел Янкель, мальчишка лет 16. Голова его была острижена грядками и походила на скверно очищенную рыбу. Струпья парши разрисовали кожу. Я дал ему обычную порцию мази.

Янкель был еврей. Его знали многие тюрьмы. И они его знали. Везде, неизвестно почему, арестанты любили его. — А, нашего Янкеля пригнали, — говорили, увидев его через два-три месяца в этом или ином доме заключения.

Его всегда куда-то препровождали этапом. Из новочеркасского централа он доходил до границы области, до самого фронта. За невозможностью продвигаться дальше, его механически возвращали обратно в Новочеркасск. Отсюда снова начинался круг. Так он описывал окурности, дуги, эллипсисы по казачьей земле. Воистину он был вечным жидом Дона.

Ему самому больше всех тюрем нравилась новочеркасская каторжная и говорил он с ней с восхищением, чуть ли не с нежностью, о ее широких коридорах, об огромных окнах на лестницах, превращавших тюрьму во дворец, о ее четырех дворах, о высоченной стене, о корпусе одиночек. И о том, как его царственно кормили на кухне, где он допускался к чистке картошки.

Он взял мазь и сказал, щелкая языком:

— От такой мази у вас нема, какую давали в централке. Она таки такая зеленая, как бабочка. И чешет голову, как когтями.

Подошли и другие с жалобами. Всех мучил кашель, ломили суставы. На стенах росли блеклые цветы плесени. И от этих цветов просыпались застарелые ревматизмы и ныло в костях. Нагапетьянц, восточный человек, посмотрел на меня своими тоскующими черными глазами.

Он был когда то владельцем „ресторана для обедов“; при красных ресторан превратили в столовую общественного питания, а его сделали заведующим, так

что он числился на большевистской службе. Я дал ему гваяколовые порошки.

— Спасыба, дорогой, — сказал он гортанно. — Савсэм плохо.

Он был персидским поданным и надеялся на консула в Ростове. Я спросил:

— Ну что, Арташес Карпович, от консула сведения есть?

Он печально покачал головой. Огромный нос свешивался к подбородку.

— Нэ... ныче о нэту. У него толстый морда, савсэм ныкакой вниманые не дэлает. — На смуглое лицо легла грусть. — Пропадать будым, что дэлать. Савсэм болной.

Ко мне подошел рыжеватый человек и дружески пожал мне руку. Я знал его еще до тюрьмы, когда он был счетоводом Отдела снабжения 14 дивизии. Он рассказал мне, как умер Линке. За день до прихода Мамонтова Линке скрылся от Полемейко и Румянцева и на лодке пробрался к острову посредине Дона, где прятался в камышах. Через двое суток рыбаки сообщили ему об оставлении красными станицы и о новой власти.

Тогда Линке переплыл на другой берег в район добровольческой армии. Кубанский генерал Покровский, шедший той стороной, велел его расстрелять, не смотря на штабной чин перебежчика.

— Вы служили у большевиков, — сказал генерал. — Следовательно, так или иначе вы им помогли держаться. Хотя бы из под палки. Вы бежали от них. Но этим зло, принесенное вами родине, не уменьшилось. Вы — изменник.

Через два часа Линке был трупом. Узнали об этом в станице тогда, когда с того берега приехал офицер Покровского за вещами казненного.

Восторкин протискался к ящику, перекрестился и попросил лекарства. Этот старик, женившийся год назад на двадцатилетней, был религиозен необычайно. Он принял доверов порошок с таким видом, точно поглощал хлеб и кровь господнюю. Я спросил, как его дела.

— За грехи маемся, — ответил он богомольным тоном, — без божьей воли волос не спадет, а все же

встревожился. Слух вот передает Костюков, что на суд послезавтра иттить.

Длинный Костюков был захвачен у Морозовской. Спасся от смерти он только тем, что снял с ноги сапог и портянкой болтал в воздухе, чтобы показать, что сдается. Почему то этот трюк рассмешил бравших его казаков. Суд же дал ему 10 лет каторжных работ и порку. Этот балагур создавал новости и потешался над людской наивностью. Заключенные жадно ловили все, что говорилось, и верили самым несбыточным рассказам.

Костюков тоже подошел. Тощий, как жердь, босой, с петушинным чубом, в растегнутой рубашке, еле достигавшей пояса, он был действительно забавен своими ужимками, смешными интонациями.

— Не бойся, батя,—хлопнул он старика по плечу.— Молись богу да чеши ногу,— вот и вся делов. Отпущение будет стариков, что от роду сорока годов,— сказал он весело. И потом, отходя, сразу бросил:—От их, сучьих сынов, дожدهшься.

Восторкин укоризненно посмотрел ему вслед:

— Никакого страха божьего... Вот про то и карает господь в тюрьме.

Костюков поймал последнее слово и звонко крикнул издали:

— Ничего, дед, тюрьма—она свойская... Эх! Тюрьма, что бутылка: вход как донышко, а выход как горлышко. Сюда в дверь тройкой въедешь, а отсюда ужом не выползешь.

С дальней нары донеслось оханье. У стены лежал крестьянин лет пятидесяти. Тифозная горячка ослабила и истомила его, перевести же больного было некуда за отсутствием свободных помещений. Он стонал, поводя головой, неопрятный и жалкий.

— Вот человек и издыхает,— сказал кто-то сзади грубо и зло.

— Рази ж то человек?—возразил другой.—Он арестант. Выходит, хуже животного.

Я взял лежащего за руку. Пульс бился неровно, с выпадениями, неопределенно.

— Ох—хох,—простонал больной,—духу нету... Вот тут,—указал он на грудь,—болячка дышать не дает.

Грязные стены, покрытые бархатистой плесенью, дышали застарелой сыростью. Была беспросветность в этой полутемной камере, как склеп нависал потолок, от земли пола тянуло холодом могилы.

Из ящика я достал кофеин, подозвал Восторкина и объяснил, как давать больному. Старик перекрестился и бережно спрятал порошки. Предстояло обойти камеру за камерой весь этаж. Я направился к выходу.

Дикий крик ворвался в окна. Острый звук неистово сверлил воздух на высокой ноте, и было так, словно кричавший не мог остановиться и должен был беспрерывно и натуженно гнать вопль. В камерах сразу стихло. Крики были знакомы, так как к полдню всегда рвали обычную жизнь тюрьмы. Но заключенные сжались в сырой полутьме.

— Эх, язв твою печенку,—прорвался голос Костюкова веселой и злой угрозой. — Гуляет плетка не по тем лопаткам. Ну, да ничего. Розга, что заклад: сегодня берешь, завтра отдаешь. Берешь в одне, а отдаешь в двойне.

Все задвигались. Нагапетьянец прошептал, прислушиваясь к крику:

— Нэ хорошо. Зачэм человека мучить? Люче возми кынжал и рэж.

Янкель, уже смазавший струпья, причмокнул языком и сказал, закрыв глаза от умиления:

— В Новочеркасске завсегда отлупливают, а не бывает слышать. Ай, там такая устройства.

Злая тоска ворочалась в сердце. Этот крик сверлил мозг. Я ударил ногой в железо двери.

Надзиратель зазвенел ключами.

\* \* \*

В пять часов принесли кипяток, и ужинали. Кучками сидели на нарах и беседовали между собой обо всем, что приходило в голову. Солнечные лучи стали косыми и нежаркими.

Хромой Никулихин, отломив кусок ржанного каравая, сунул в рот ломоть и запил горячим чаем.

— Нет, братцы,—сказал он, вытирая пот с лица.— Недаром все мы здесь. Ежели посмотреть, что делается в Рассее, то и мы свою цену имеем.

Ланзот поднял неодобрительно брови. Выбирая крошки, он жевал пирог с мясной начинкой.

— Не могу согласиться,—возразил он,—я, например, здесь несправедливо нахожусь. Значит несправедливость — это хорошо?

Сидченков подхватил:

— Несправедливости и взаправду много делается. Вот за что я сижу? Раньше докажи, а потом сажай. Пускай свидетели докажут...

Обезьяньи руки Капрова потянулись к Сидченкову. Светловолосая голова качнулась, как кукольная. Глаза Сидченкова заблестели обидой. Капров пошевелил, как кот, редкими усами и бросил нетерпеливо:

— Ты не лай, когда люди говорят.

Никулихин вздохнул, распаренный чаем.

— Я так понимаю,—сказал он, светло улыбнувшись. Его сократовская лысина влажно блестела каплями пота.—Наперед всего должна победить правда-истина. Белые или красные — не знаем мы, у кого правда... А без правды силы не возьмешь. Сегодня возьмешь, завтра возьмешь, а ежели фальшивость в ней, то сломится. Напоследки скажется, у кого она. Вот я смотрю:— ежели с красными правда, значит наши страдания—за правду. А это хорошее дело.

— Ну, а ежели белые заверховодят Рассеей?—спросил старик Чепыхин, моргая большими глазами. Он подошел неслышно и присел сбоку. Из кружки он выуживал пальцами хлеб, размокший в чае.

Никулихин обернулся.

—И тогда мы цену имеем свою,—сказал он, шевеля спутанной бородой. — Значит схотели против правды итти и от правдивых горести получаем. Тут-то оно и правильно выходит.

— Ну, вас не поймешь,—махнул рукой Ланзот.—И так, и этак—все справедливо. Убью я вас—хорошо, убьете вы меня—опять же хорошо.

— Говорят, скоро Москву заберут,—сказал Калкин, пастух с хутора. — Тогда будет замирение, а нам на волю. С радостях значит.

Все засмеялись. Ангел свободы пролетел; все задумались. Только Капров сейчас же сказал:

— Кишка тонка, как бы не надорвались. Мос-кву!—передразнил он. — Пускай бы добровольцев вызывали, тогда другое дело.

Он лелеял мысль выйти на волю, попросившись на фронт добровольцем. Поданное заявление, однако, не вызвало никакой перемены в его положении. Даже ответа не было.

Кто-то встал с соседней нары и протяжно вздохнул. Я оглянулся. Рыжекудрый богатырь и красавец Силантьев смотрел в окно на потемневшее небо. Он вздыхал и гладил широкую, раструбом, бороду. При донской власти он был у себя на хуторе атаманом, при красных был выбран комиссаром. Его широкоплечая фигура резко вырисовывалась в светлом четырехугольнике.

Пятна солнца на стене передвинулись. День неслышно спадал. Воздух золотился пожаром еще не наступившей зари.

— Наши что-то долго не идут,—сказал Кудиноков и почесал седую голову.—Должно, суд тяжелый.

Ланзот отозвался:

— Я полагаю, что наоборот. Васильев—человек неплохой. Вот Никольский, — это дело другое, жестокая личность.

Опять все замолчали. Слово тень встала над беседовавшими, лица стали строже, темнее. Только взгляд Никулихина оставался блестящим, как будто экзальтированным.

— Это он из-за папаши,—сказал авторитетно Сидченков, вертя белобрысой головой. — Из-за покойного отца Сергея. Как бывало дойдет до совещания, так он сейчас требует: спуска не давать. Изничтожить их надо за религию, говорит.

Председатель Никольский отличался свирепостью. В дни, когда он вел судебное разбирательство, приговоры отличались жестокостью, и большим процентом осужденных на расстрел. Его отец, священник в Нижне-Чирской, был расстрелян за организацию восстания. Теперь сын мстил за отца. Судьба же инородцев была всегда predetermined.

На этот раз реплика прошла Сидченкову благополучно. Капров стоял задумавшись, и его рябое без-

бровое, как будто цыганское и в то же время скопческое лицо застыло. Grimаса кривила рот, мысли, должно быть, были неприятные, взгляд приковался к полу.

Никулихин покачал головой:

— Надежда должна быть в душе...

На дворе стукнула калитка и донесся шум. В камере произошло движение. Все бросились к окнам.

Возвращаясь из суда, во двор входила партия. Конвойцы держали ружья на перевес. Арестантов вели под строгим караулом. Перед входом в корпус их окружили еще плотнее.

Это значило, что среди осужденных были смертники.

\* \* \*

Стены были уже затканы сумерками. Солнце спускалось за дальними домами. Я сидел рядом с Еропковым из Липовского хутора и старался не смотреть на него. Его лицо стало свинцовым. Оно было без теней, какого-то непередаваемого цвета. Помимо моей воли, какая-то властная сила притягивала к нему мой взгляд. Это был первый смертник из нашей камеры.

Я не мог оторваться от человека, сидевшего рядом со мной на нарах, потому что это был человек, которому ночью предстояло умереть. В моем любопытстве было жадное, не истребимое, мучительное тяготение. Рядом со мной внезапно возник мир, таинственный, жуткий, непостижимый. Черта, невидимая и страшная, легла между живыми и тем, кто вскоре уже не мог быть живым.

— Что сейчас с ним происходит?—спрашивал я себя, стараясь смотреть как-будто мимо него. — О чем он думает? Можно ли вообще думать в таком положении? Какими кажемся для него мы, вот все мы кругом него, мы, которые будут жить и завтра и после завтра и еще много дней после того, как черное молчание, гробовая ночь упадет на него.

Лицо его оставалось неподвижным, а губы шевельнулись. И вдруг он сказал:

— Дайте покурить.

Я вздрогнул. Голос был бесстрастный, как будто усталый; но не усталым, а каким-то особенным был

этот звук. Отчего я испугался? Не знаю. Я достал коробку и протянул ему папиросу. И опять я вздрогнул. Его рука взяла папиросу. Эти пальцы, длинные, слегка корявые, рабочие пальцы с резкими бороздками на сгибах фаланг — показались мне фантастическими. От них повеяло на меня чем-то ледяным. Ведь это были пальцы трупа. Скоро они будут мертвы.

Я зажег спичку и поднес дрожащий огонек к его рту. Он закурил. В эту короткую секунду веки раздвинулись, и я увидел его взгляд. И опять мгновенная дрожь ударила по всему моему существу. В глазах у него не было ни страха, ни смятения, ни скорби, ни ужаса. Зрачки были тусклы и какая-то неповторяемая матовость покрыла их. В них тяжело стыла неподвижность. Это были глаза Елиазара.

Он что-то произнес. Я не расслышал слов.

— Что вы сказали? — спросил я, наклоняясь к его лицу, лишенному выражения.

Около нас никого не было. Соседи сбились на дальних нарах в группы и негромко разговаривали. Пристутствие обреченного глушило голоса.

— Надо бы жене сообщить, — сказал он как-будто сонно. — Попросить начальство.

Я уважал этого всегда спокойного и неторопливого человека. Однажды вечером перед сном мы лежали рядом и разговаривали. Он рассказал мне о своем хозяйстве, о земле, об огородах, о том, как надо готовить из арбузов черный мед, нардэк, и как цветет молодой табак, посеянный ранней весной. Свое пребывание в тюрьме он считал недоразумением. — А пострадать придется, — качал он крепкой головой. — Сосед наговор большой сделал. Это с каждым, конечно, случиться может, год-другой посидеть, может, не такая беда, да вот хозяйство в раззоре будет. Где же женщине одной справиться

И жену он показал мне через окно, когда она, после передачи, с другой стороны улицы делала ему приветственные знаки. Она была еще молодая, худенькая, с бледным, без загара лицом.

— Вы попросите бумагу и напишите ей письмо, — сказал я. — Они передадут. Письмо должны разрешить.

Он неподвижно думал.

— Письмо... да... — произнес он глухо.

Папирота догорела и завоняла. Он бросил окурочок на пол и придавил ногой. Теперь я заметил, что его движения были какие-то автоматические. Словно во сне двигал он пальцами, головой, руками. А лицо было какое то особенное, строго-спокойное, как будто заглаженное.

Из угла донесся одобрителный гул. Окруженный слушателями, красивый Юганов рассказывал о суде и о своем поведении. Говорил он живо, с искренними интонациями, взбудораженный счастьем. Его приговорили к 20 годам каторги и к 50 розгам. Сначала никто не поверил этому. Все, и он сам в том числе, давно определили ему неминуемый растрел. Первые полчаса он не мог усидеть на месте от животной ослепляющей радости, вертелся вьюном, бессмысленно улыбался, к каждому приставал, блестя глазами.

Незаметно темнело. В квадратиках окон светлели куски неба, уже синевшего по вечернему.

В коридоре хлопали, отворяясь и закрываясь двери. Начиналась проверка.

— А-а-а-а-а... — раздался неясно за стеной счет. Потом стихло. Железо гулко стукнуло о раму. И сейчас же топот нескольких пар ног остановился у нашей двери. Ключ с звонким шелканьем повернулся в замке. Мы выстроились в два ряда полукругом от стены до стены. Помощник обежал нас взглядом, как неживых. Старший надзиратель, водя пальцем поверх голов пересчитал нас:

— Два, четыре, шесть...

Затем он помуслил карандаш и записал итог в книжке. Переступая с ноги на ногу мы начали терять строй.

— Еропков, — сказал сердито надзиратель, не глядя на Еропкова. — Собирайся.

Еропков, пожелтевший, как-будто уже постаревший за эти несколько часов, выступил на шаг вперед.

— Письмо разрешите напоследок. — сказал он беззвучно, как бы с трудом шевеля темными губами. — Надо жене сообщить...

Помощник, морщась желчным с усиками лицом, незаметно отодвинулся. Также неслышно два надзира-

теля, переступив с ноги на ногу, стали по бокам Еропкова, готовые схватить его при первом движении.

— Ага... письмо, — не зная, что сказать, ответил помощник. Видимо обрадованный сдержанностью арестанта, он скороговоркой сказал: — Хорошо, хорошо, потом, бери свои вещи.

Мы сбились направо и налево, двумя нестройными колоннами. Еропков, сгибая спину, понуро пошел к парам.

Помощник покашливал. Он нервничал. Очевидно, ему хотелось накричать обычно, сердито и зло, на собиравшегося за задержку и медлительность.

Наконец, Еропков выпрямился с узлом в руке; в щели между досок зацепилось полотенце, которое он не заметил. Надзиратель встал сзади него.

В эту минуту взгляд Еропкова просветлел. Медленно ворочая головой, он посмотрел на всех с внезапной ясностью. Каменная скомканность лица смягчилась. И широким движением он поклонился низко нам всем.

— Прощайте, братья, — сказал он неожиданно грудным, теплым голосом. — Иду на казнь.

Помощник тревожно мотнул головой надзирателям. Но прежде, чем кто-либо успел сказать слово, крепкая разбойничья фигура Капрова вырвалась из ряда. Размахисто вскинув руками, он обхватил Еропкова и прижался губами к его губам.

Оторопелое безмолвие пролилось в камере.

#### 4.

Уже свыше месяца находился я в тюрьме. Обычный состав заключенных был таков, что фигура преступного главного врача госпиталя являлась величиной, чрезвычайно заметной для следствия. Можно было несколько оживить однообразные судебные будни, создав довольно громкий — по местным масштабам — процесс. В станице я как-никак был лицом видным, большинство жителей меня так или иначе знало. Предварительное же следствие при военно-полевых судах приняло настолько упрощенные формы, что не требовало для своего завершения большого срока. По моим

расчетам выходило, что я уже должен был предстать перед столом, покрытым зеленым сукном. Мои соображения подкреплялись тем обстоятельством, что некоторые заключенные, позже меня поступившие, уже отбывали наказание.

Сидеть мне надоело. Было тягостно это полное отсутствие связи с внешним миром. Можно было подумать, что решетка не только отделила меня от прежней жизни, но и вытерла как резинкой, широкий след в памяти тех, с кем я сталкивался в нижнечирской период моего существования.

Ко мне никто не приходил на свидания, не попала ни одна записка, ни одно дружеское лицо не улыбнулось мне с улицы, когда я вечерами, стоя на нарах, вытягивался на цыпочках и смотрел в голубое небо. Меня словно забыли. Даже к допросу ни разу не позвали. Как будто я был без роду, без племени и затерялся, как иголка, в этом чужом краю.

Оставалась одна радость: спускаться во двор за аптечным ящиком и, до и после обхода, валяться в траве, густо разросшейся у тюремной стены.

Был уже июль. Пестрые полевые цветы, прикившие к забору, раскаленному от зноя, наклоняли увядшие головки. Изумрудные мухи вились над отбросами подле кухни. Часовой во дворе прятался под тень сторожевого навеса. Ночи же были душные, насыщенные неопрятными испарениями, бессонные.

9-го июля я подал через начальника тюрьмы бумагу на имя войсковского атамана, генерала Богаевского. Я жаловался на содержание меня в тюрьме без суда и следствия и просил о производстве срочного дознания. Мной вдруг овладело нетерпение. Через несколько дней я подал еще одно заявление. Потом еще одно. И все это на протяжении двух недель.

Меня волновало ожидание. Как потом выяснилось, мои прошения дальше тюремной канцелярии не пошли. Они мирно покоились, никем не тревожимые, в папке, и затем оказались подшитыми к моему делу.

В середине месяца, однажды после чая я собрался как всегда во двор за аптечкой. Я постучал в жестяной лист глазка. Надзиратель открыл дверь, но заслонил собой просвет. Это препятствие меня удивило.

Всей администрации, высшей и низшей, было известно, что я исполняю обязанности врача и в этих пределах обладаю свободой.

Я сказал:

— Я в обход. К больным.

Надзиратель повел головой.

— Есть распоряжение не пускать, бо наш доктор приехал.

И он прикрыл за собой дверь.

Я машинально отошел. Что-то обожгло мне грудь. Я кусал губы и старался проглотить тупой ком, подкатившийся к горлу. Теперь еще невыносимее будут мне эти серые стены камер.

Вскоре по корридору действительно пролетели звуки, указывающие на чье то появление. Кто-то ходил из камеры в камеру. Пробежал Янкель и крикнул в глазок:

— Доктор ходют.

Я равнодушно ожидал прихода врача. У меня тупо ныло в груди и голова была пустая, гулкая.

Когда загремел ключ, я не пошевелился. Не было во мне ни любопытства, ни желания говорить с кем бы то ни было.

Надзиратель распахнул широко дверь и крикнул:

— Встать!

Все вскочили с нар. Я тоже встал.

В камеру вошел бледный молодой человек с выпуклым лбом. За ним почтительно следовал другой, со знакомым аптечным ящиком, — очевидно, фельдшер.

У человека с выпуклым лбом тужурка была застегнута на все пуговицы. Просвечивающие волосы ежиком и поблескивающие стекла очков делали его неуловимо похожим на товарища прокурора. По прозрачной коже висков вились голубые вены.

Я тотчас же узнал вошедшего.

Это был доктор Серебряков.

\* \* \*

Одни уходили, другие приходили. Камеры были густо населены. Арестантов было больше, чем мест. Спали и под нарами.

Последней партией пригнали казаков из Иловлинской, захваченных где-то Мамонтовым. Эти несколько человек, взятые в бою, были обречены. Тем не менее они не казались удрученными. Здоровые мускулы и алая кровь были сильнее всякой логики, и эти красные кавалеристы и в тюрьме были тем же веселым и живым народом, что и на воле. Иногда только можно было заметить, как туманился чей-нибудь взгляд.

Шуметь не полагалось. И они тянули свои песни неполголоса, сохраняя все переливы и замирания. Когда, заканчивая мелодию, голоса вели долгий, готовый сорваться звук, заунывный как ветер в щели, мне всегда чудился ковыль, одинокий колодезь и красный вечерний закат.

В это утро из нашей камеры ушел на суд Сидченков. Он бегал из угла в угол, радостно взбудораженный. Настал долгожданный день. Две женские фигуры в платочках — мать и жена — караулили чуть ли не с зари у ворот.

Во дворе собралось человек десять; некоторые жалась как будто от холода. Конвой окружил кучку людей. Послышалась команда.

Из наших окон видно было, как далеко на дороге к оврагу вынырнул маленький отряд. Пыль лениво дымилась, еще тяжелая от росы.

Появление Серебрякова ничего не изменило в моем положении. Он был сдержан со мной, отрывисто здоровался. Разговор, который я вдруг мог бы внезапно затеять, видимо пугал его, — бывшего здесь должностным лицом.

Только однажды он вдруг сказал:

— Вы просили порошок от головной боли? Возьмите.

И он протянул мне бумажку, в которую был завернут фенацетин. Я догадался развернуть этот порошок, отойдя в сторону. Бумажка была запиской от Михайленко. Кронид ободрял меня.

Эти несколько слов оставили меня странно-спокойным. Я чувствовал апатию ко всему. Только разговоры с живыми людьми несколько занимали меня. И я любил погружаться в эти беседы о хозяйстве, о семье, о заботах по дому, по полю. Неприметно, без всяких

усилий, я уходил в чужую жизнь со всеми ее мелочами. Реклю я уже знал наизусть и книги валялись у меня в головах нары.

Среди иловлинцев был казак Корольков, ласковый и вспылчивый человек. И большой мастер петь. Я ходил с ним от стены до стены.

— Огородом у меня жинка занимается, — говорил он не спеша, глуховатым тенорком, — это женское дело. Нету в нем ничего, правда. Окромья сытости, что в нем есть? Ну, всякая там петрушка, морковь, картофель, капуста, ползет эта зелень по грядкам, ровно душегуб. И духу никакого. Возьми к примеру яблоко, — ну просто душа радуется. Духовитей груши нету. А вишень в цвету? Ночью выдешь на месяц, — где ты? Земля не земля, рай не рай, дивишься, не отойдешь, — правда! И слышишь, где то — гук! — падает яблоко с яблони. Проситься, значит, — возьми. Растение — оно тоже чувствует свое время, — сказал он веско.

— Значит вы умеете ухаживать за ними? — спросил я. — Это тоже ведь надо знать.

Он посмотрел на меня снисходительно.

— А как же? — сказал он, подняв плечи. — Что дерево, что дитя малое — одна забота с ними. Не доглядишь — испортишь. За ним глаз надобен, — во! Не обмажешь ствол, или, к примеру, не окутаешь как следует к заморозкам, или там жучка допустишь, — оно же против тебя и обернется.

— Ваше дело садоводом быть, — сказал я. — А вы, Корольков, воевать пошли.

Лицо его стало сухим. Он замолчал.

— Это... как все, — нехотя протянул он, наконец.

— Что же, вас заставили?

— А то что ж, своей волей разве? — сумрачно сказал он. — Не душегуб человек самому себе.

— А вы бы отказались. Не хочу, мол, воевать.

— Да, это верно, в аккурат, — сказал он иронически. — Брат мой такой был. Генералы пришли наблизовать, а он: „Не пойду. Довольно с ерманцами натерпелась“. Ну и в царствии теперь небесном... Подбирались генералы ко мне. Вижу, конца краю войне нету, — пока генералы не переведутся, все воевать будут. Они войну кормят, а она их кормит. Взял я

лошадку, отдал хозяйке ключи, а сам подался к красным...

Он вдруг запнулся. На секунду в глазах его мелькнул испуг. Он как будто спохватился.

— ...ну, и набилизовали,—закончил он сразу. И замолчал сурово. Очевидно, он был недоволен своей откровенностью.

Мы продолжали ходить, уже молча, из угла в угол. Потом ходить надоело. Я остановился в углу камеры, около сгрудившейся кучки.

— ...аглицкие порядки, милые, завсегда самые лучшие,—говорил старик Кудинок, поглаживая бороду.— Рассказывал один человек, что всякий там барин. Порядок у них, милые, заведен такой, что кому стукнуло пятьдесят пять годов, так работе конец. Хучь рабочий, хучь графского звания, отводят его в хоромы, при хоромашах—сады огромные, пить-есть дают, на мелкий, расход—что полагается, гуляй, спи, чистую рубаху споднюю—каждую неделю. Хоромы каждому в отдельности. Старики, милые, там уважают.

Окружающие внимательно слушали.

— И у нас раньше неплохо было,—отозвался Чепухин, вытирая слезящиеся глаза.

Я отошел. В противоположном углу несколько человек тоже разговаривали. Слесарь с землечерпалки, Трофимов, объяснял, точно рубил:

— ... это что ж что суд? Рука руку моет, понял? Одна у них лавочка. Сегодня попался Сидченков, так он же свой. Обделают так, что еще чище снега белого выйдет, будто непричем. Ошибка. Понял? Вот и весь суд. Еще награду получит, как невинно потерпевший. Понял?

Он уверенно осмотрел слушателей. Лицо Ланзота выражало сомнение. Тогда Трофимов сказал ему напористо:

— А мало Сидченков про них знает? Они его тоже боятся. Чуть что, он сейчас наружу и выведет. Понял?

Он сплюнул, точно задетый за живое. Попал Трофимов в тюрьму недавно и почему-то все принимал близко к сердцу. Его страсть была—доказать, заставить противника согласиться. Если никто и не возражал, он сам как бы спорил за другого.

Меньше всего беспокоился он о себе. Уже давно убедил он и себя и других, что дадут ему самое большое пятьдесят розог и пошлют на фронт.

Капров, кривя рябоватое лицо, сказал на воровском жаргоне:

— Все они шмара. Я бы их взял на перо.

А спустя час или два во дворе произошло необычное. Топали гвоздательные сапоги по мощенной земле, рвался, надсаживаясь, чей-то звериный крик и его заглушало многоголосое рыкание.

Мы столпились, давя друг друга, у окошка. Часовые, отвлеченные происходящим, не замечали нас...

Во дворе под напором надзирателей крутился человек. Рубашка была в клочьях, белое, как кипень, тело пружинилось мускулами. Он кусался, хрипел, визжал, вопил и был страшен со своим перекошенным лицом и налитыми кровью глазами... Его валили, а он, делая вдруг невозможное усилие, сбрасывал людей, давивших его к земле. Губы были в пене, окрашенной кровью. Наконец, его опутали веревкой и он упал на землю, извиваясь и рана себя о камни.

Это был Сидченков. Связанного его понесли в корпус. Дверь секретной закрылась, надежно отделив его от всего мира. Потом мы узнали подробности. Его не позвали выслушать приговор. Это была смерть. Неизбежная. От неожиданности он был почти парализован.

У ворот тюрьмы его возвращения ждала жена. Вид этой женщины, которую он любил, привела его в себя и в то же время сделало неменяемым. Втолкнутый в калитку, он расвирепел. Он бросился на часового, вырвал винтовку и повалил конвойца, непрерывно выплевывая проклятья.

Ночью Сидченкова связанного, с кляпом во рту, вывезли из тюрьмы и расстреляли.

\* \* \*

Дежурные принесли кипяток. И в эту минуту я услышал свою фамилию. Голос со двора продолжал вызывать других.

Было 1 августа девятнадцатого года.

День суда, наконец, пришел. Вначале была радость, но продолжалась она мгновение. Встало что-то неизбежное, неотвратимое над моей волей и моей жизнью. Уже нельзя было уклониться. И я почувствовал внезапно, без размышления, как-то бессознательно, чем то темным, как инстинкт, что я повис над бездной.

Вызванные собрались у конторы. Конвой окружил нас. Старший вышел из канцелярии, пряча бумаги за обшлаг. Затем блеснули клинки шашек. Слова команды упали в утреннее безмолвие. В узкой калитке произошла неловкая толкотня.

Воздух был еще прохладен свежестью ночи. Небо синело как чаша, только что вымытая. На улице была тишина неторопливой и успокоенной жизни, и из ворот домов выходили люди и смотрели на нас. Эти места были мне знакомы. Оживали полузабытые впечатления. Этой дорогой я когда-то торопился в окружную больницу. И я вспомнил, как вырастало передо мной белое здание тюрьмы. Как мало я думал тогда о сидевших в ней!

Вот спуск к балке, где около сугроба мертвых тел на меня наткнулся молодежавый генерал. Я подходил к этому скату и то, что было, встало передо мной, как чей-то сон.

Мы повернули к Баклановскому проспекту. Здесь вот у кирпичной стены Интенданства меня разделял казак с серьгой. Теперь же на рыже-буром фасаде висела афиша. Я прочитал на ходу: „Официальное сообщение. На подступах к Саратову. Наши доблестные части вошли в соприкосновение с бандами Буденного“.

Буденный. Это имя было еще неизвестно. Оно попало мне впервые.

Конвой ввел нас в дом, снаружи ничем не отличающийся от других. У входа какой-то военный поклонился мне. Я не знал, кто это был, но лицо показалось знакомым.

В узкой и длинной комнате, без скамей, мы расселись на полу. Караульные опирались на ружья у двери. Впечатления почему то рассеивались, словно все происходило за дымкой кисеи.

Меня первого вызвали в соседнюю комнату. Два солдата отделились от стены и пошли со мной. В ком-

нате, пригнувшись к столу, молодой офицер с пробормотом что-то писал. Когда он поднял голову на звук шагов, я увидел свежее лицо, очень красивое, ровный румянец щек и темные, внимательные глаза. По рассказам осужденных, я узнал поручика Никольского.

Окончив писать, он прочитал мне, что я „обвиняюсь в службе у красных, в большевизме, в жестокости по отношению к казачьему населению и в неприятии мер к прекращению расхищения имущества той части населения, которое вынуждено было оставить станицу Нижне-Чирскую, каковые преступления предусмотрены приказами В. В. Д. № 639, ст. 8—1919 г. и № 834, ст. ст. 8, 9 и 19—1918 г.“.

Через десять минут меня снова вызвали. Я прошел со своим конвоем три комнаты, а в четвертой стоял большой стол с зеленым сукном и с дубовыми стульями. В центре сидел Никольский. Слева и справа от него занимали места по два казака. Сбоку секретарь, наклонив голову, что-то писал. И еще один штатский человек сидел отдельно за столом. Роль и значение этого лысого молчаливого человека я не мог определить.

— Ваша фамилия? — спросил безразлично официально поручик, перебирая бумаги.

Судебное заседание началось.

Солнце поднялось выше. В окно брызнул снопом лучей и уступами лег на лица судей, на стол, пол, стены. Солдат у двери, шурясь под солнцем, зевнул. Это движение, такое простое, заурядное, словно вернуло меня к жизни. Во мне пробудились вдруг с удивительной силой все ощущения; я почувствовал эту бесконечную радость свободы, любви, встреч, работы, умственного труда, которые у меня хотели отнять.

Вопросы шли за вопросами. Председатель выбрасывал мне кипы обвинений. Я действительно оказался преступником, злодеем закоренелым и жестоким.

Началось с сиделок и санитарок. Они показали, что я в работе был требователен и настойчив. Это означало, конечно, мое желание выслужиться. Какие-то жители видели меня верхом рядом с Поломейко. Это означало дружбу с комиссаром. А дружба ведь вызывает заслугами. Это в свою очередь означало—большевизм.

Одна женщина была мобилизована на трудовую повинность. Она обратилась ко мне за удостоверением о болезни. Я отказался осмотреть ее без бумаг и послал в милицию. А там ее забрали на работу. Когда я говорил с ней, голос мой был жесток. Так показала письменно, не появившись на суде, эта женщина. На ее словах построилось обвинение меня в издевательствах и жестокости. А фамилия этой женщины была — Никольская. Потом я узнал, что свидетельница — мать поручика Никольского.

Я был впервые на суде. Впервые меня обвиняли, и впервые я должен был себя отстаивать. Мое оружие было плохо отточено. Я не знал приемов возражения и нападения и защищался, как мог.

Ложь свидетелей казалось мне смешной. Так она походила на правду. Для того же, чтобы эта ложь не выходила однако правдой, — нужно было отыскать детали, свидетелями утерянные. И тогда видно было — так мне казалось — что преступление испарилось, как дым.

Я был хороший главный врач? Да, это верно, я старался быть таким. Но если бы я был плохим, меня наказывали бы. Кроме того врач всегда должен быть хорошим. В этом заслуга профессии. Дружба с комиссаром? Отчего же нет? Поломейко охотно помогал госпиталю, от него зависело питание больных, — тех же пленных казаков донской армии. Мои просьбы — просьбы главного врача — им исполнялись. Отчего же мне было избегать его общества?

Отказ в освидетельствовании? Да, это было. Но военком Амелаев лишил меня права выдачи удостоверений без направления милицией. Куда же мне было отсылать обращающихся ко мне?

Один раз на лице председателя мелькнуло нечто вроде торжества. Его улыбка, мгновенная и саркастическая, как бы хотела сказать: — Посмотрим, что вы теперь запоете. — Он огласил длинное показание.

Я выслушал прочитанное, ошеломленный. Я оказался похитителем печати дивизионного врача. Все это было бы похоже на шутку, если бы имя доктора Аверьянова не было произнесено с такой правдоподобностью. Когда он заболел сыпняком, я стал захватчи-

ком его власти. Строгости медицинских комиссий вдохновлялись мной во имя скорейшего пополнения красноармейских полков. Моими предписаниями подпирался боевой фронт. Я служил революции Октября не за страх, а за совесть.

Все эти сведения подписаны были так: „Почетный казак станицы Курмоярской, коллежский ассесор доктор Владимир Карлович Дилле“.

Мое изумление было велико. Но все таки в этот момент я невольно вспомнил рапорт доктора Дилле о переводе его в латышские стрелковые батальоны. А кончался рапорт так: „желаю послужить советской власти в рядах революционных латышских полков. Врач латыш Владимир Карлович Дилле“.

Когда я пришел в себя, я расхохотался. Захват власти! Значит, действительно, во Всевеликом Войске Донском представляли себе Красную Армию сборищем ничем не связанных людей, куда каждый может придти и захватить угодный ему кусок влияния.

Я хотел добросовестно изложить суду структуру назначений в Красной Армии. Я хотел сказать, что выполнение служебных обязанностей может осуществляться только после проведения в приказе по дивизии. А приказ по дивизии, подписанный начдивом, мог состояться только после донесения дивизионного врача Аверьянова обо мне, как о своем временном заместителе.

Но при первых же словах Никольский меня оставил: — Прошу говорить по существу, а не о воинском уставе. Иначе вы будете лишены слова.

Молчаливый человек за столом с лысым черепом, слушал меня внимательно и время от времени заносил что-то в книжку. — Уж не корреспондент ли? — подумал я не без гордости и уважения к себе.

По вопросу об имуществе Тарасова мне пришлось быть кратким. Я заметил только, что бесхозяйное имущество подлежало ведению коммунхоза и милиции. Это одно. А второе — Тарасов не поручал мне охраны своей мебели и сундуков.

Иногда председатель наклонялся направо и налево и бросал членам, своим соседям: — „Имеете ли вы вопросы?“ — Те отвечали торопливо, как будто конфузясь: — „Нет“.

Судоговорение затянулось. Было четыре часа, когда я кончил „последнее слово“. Продолжительность моего процесса была рекордной. После меня одиннадцать дел прошли в три часа. Конвойные вывели меня в смежную комнату. Суд остался совещаться.

Я вдруг почувствовал усталость, почти изнеможение. Ах, отдохнуть! Растянуться на наре и заснуть. Какое наслаждение! Солдаты переминались с ноги на ногу. Они тоже с удовольствием присели бы.

Прошло, вероятно, около получаса. Потом выбежал вертлявый секретарь. Он пронесся через комнату и, приоткрыв дверь в соседнюю комнату, крикнул куда-то:

— Остенко и Глебова!

И побежал обратно в зал заседания.

Пять человек — два арестанта и три конвойца, — топоча разнобойно сапогами, прошли мимо меня. Двери раскрылись и закрылись за ними. Начался суд над другими.

Меня же повели в закрытую галерею. В первую минуту я подумал об ошибке, о забывчивости суда. Ведь приговора то мне не сообщили! Но сейчас же я все сообразил. Мне вдруг показалось, что стены куда-то наклоняются.

Головокружение продолжалось секунду. В комнате, где утром поручик Никольский читал мне обвинительное заключение, я опять увидел военного, поклонившегося мне на улице. С ним были еще двое. Лица всех трех показались мне странно знакомыми. Несмотря на свое состояние, я это почему-то заметил.

Теперь уже все они, отделенные от меня перегородкой, кивали мне головами. — Господин доктор, — громко крикнул один из них. — Вы...

Конвойный грубо перебил его.

— Нельзя! — оборвал он, закрывая меня своей спиной.

## 5.

Известие о смерти, которая предстоит, каждый, конечно, переживает по-своему. На одних находит столбняк. У других вспыхивает жажда жизни и в голове

кружится вихрь различных планов спасения. Третьи стискивают зубы, чтобы не выдать отчаяния. Четвертые открыто терзаются невыносимой болью.

Галерея была обита в человеческий рост деревянной обшивкой и имела выход во двор. На ступеньках сидели караульные. Деревянными ложками брали из котла кашу и ели. Походная кухня дымилась неподалеку. Это был час обеда команды.

Ничего, кроме усталости, не было во мне. Я прилежал на верхней ступеньке и сидел без желаний, без мыслей, равнодушный и пустой. Один раз веселый смех привлек мое внимание. Я поднял глаза и далеко на противоположной стороне улицы, скрытой забором, увидел на балконе людей. Дети возились на балконе, чему-то смеялись и шумели, а женщина, подпершись рукой, смстрела в мою сторону.

Конвойный вытер ложку о полу казакина и протянул ее мне.

— Поешь, — сказал он. — Небось измаялся.

Я не был голоден. Но почему-то я взял ложку и начал есть кашу.

— Всякий маетс, — заметил пожилой казак, — один так, другой этак.

Спустия немного времени кто-то постучал в ворота. Пожилой караульный пошел на стук, вытирая на ходу губы тылом ладони. Смотря упорно в одну точку на земле, я машинально двигал челюстями.

Казак вернулся. В руках у него было что-то круглое, обернутое скатеркой. Он осторожно поднес мне свою пошу.

— Возьми, — сказал он. — Тебе.

Это было большое сервизное блюдо, а на блюде — сковородка с горячими котлетами, вилка и нож, три яйца, салфетка и белый хлеб, аккуратно нарезанный. С балкона женщина махала мне одобрительно рукой. Я понял, что эта женщина позаботилась обо мне. Но кто она? Лицо ее было совершенно чужое. Движением головы я поблагодарил ее.

Я съел одно яйцо, а котлеты отдал караульным. У них был завидный аппетит и они не отказались.

Вскоре ввели двух человек. Я их видел недавно, когда они под стражей прошли мимо меня в залу за-

седания. Один из них получил 15 лет каторги, а другой 4 года. И оба по пятьдесят плетей.

И тотчас же, почти без всякой паузы, только они вошли, влетел вертлявый секретарь, выкрикнул мою фамилию и убежал. Два конвойца поднялись. Меня снова повели в комнату, где были судьи. Что это значило? Неужели, действительно, ошибка? Неужели жизнь? И только я это подумал, как что-то будто разорвалось в груди, неудержимо, затопляюще. Я прижал руку к сердцу, — оно колотилось неистово.

Снова я увидел за низенькой перегородкой странно-знакомых военных. Только их было уже пять. Они довольно возбужденно делали мне руками знаки приветствий. Я же ничего не понимал.

Суд в том же составе сидел на своих местах. Лысый человек занимал прежнее, несколько обособленное, положение за столом. Председатель взял лист бумаги и безстрастным голосом он прочитал громко что-то длинное. Начиналось оно так: По приказу „Всевеликого Войска Донского“, а кончалось тем, что в „виду смягчающих вину обстоятельств, предусмотренных ст. 134 п. 4, суд постановил: врача Фридланда, Льва Семеновича, подвергнуть отдаче в каторжные работы сроком на четыре года, с лишением его всех прав и преимуществ и с последствиями по ст. 25, 27 и 28 уложения о наказаниях“.

Когда меня уводили, лысый человек, казалось, недобрым взглядом проводил меня. В комнате же с военными, знакомо — незнакомыми, был Михайленко. Он радостно и как то взъерошенно покрутил над головой своей широкой шляпой. Затем с неожиданной гибкостью он перегнулся через перегородку и протянул ко мне руку. Я успел схватиться за кончики пальцев и пожать их. Это произошло так быстро, что нам не успели помешать.

Что случилось? Каким образом смертный приговор был отменен? Почему? Какие смягчающие вину обстоятельства вдруг всплыли после процесса? Почему мне так „повезло“, как выразился конвоец? Попрежнему все было непонятно.

Но ведь все имеет причину. И на другой день Серебряков в тюрьме вскольз открыл ее мне. Теперь

я был осужденный и со мной можно было говорить без особой боязни.

Доктор Михайленко, следивший неусыпно за движением моего дела, поздно ночью узнал о назначении на завтра суда надо мной. По составу судей, по характеру обвинений, по свидетельскому материалу, исход казался не подлежащим сомнению. Кронид Степанович переполошился.

Тогда он вспомнил вдруг эпизод с казачьими офицерами перед занятием станицы красными. И перевод их на Широкую улицу. Этот случай я как то рассказал ему однажды.

И с раннего утра, обегав всю Нижнечирскую, он каким-то образом отыскал, в конце концов некоторых участников ночного события. Налицо оказались только те, кто после болезни занимали нестроевые должности.

Когда их собралось пять человек — больше не нашлось, — они составили заявление на имя председателя суда. В нем были перечислены мои заслуги перед Домом. „В то время, — говорилось там между прочим, — как никто палец о палец не ударил, чтобы нам помочь, когда нас бросили на произвол судьбы, еврей-врач, рискуя собственной жизнью, укрыл нас от беспощадной расправы коммунистов“.

Произвел ли на суд впечатление этот документ — неизвестно. Что было бы дальше — тоже неизвестно. Но вмешалось новое лицо. Лысый молчаливый человек. Он решил вопрос, потому что это был член правительственной чрезвычайной комиссии по расследованию зверств большевиков. На суд он явился за материалами, так как жестокость главного врача заразного госпиталя казалась вопиющей. Доктор Серебряков очень торжественно, с уважением произносил его длинный титул.

По требованию этого человека дело сейчас же было пересмотрено.

Так рассказал мне доктор Серебряков. Я невольно покраснел, когда услышал о „беспощадной расправе коммунистов“. Но не счел нужным возражать на этот раз. Мои заслуги были мнимы, но они пришлись весьма кстати, в конце концов.

Лысый человек мне представлялся теперь довольно симпатичным. Даже было жаль, что я не рассмотрел его как следует. Выходило даже нехорошо, что такой справедливый человек потерял из-за меня напрасно время. Мой процесс дал мало материала для зверств большевиков.

Доктор Серебряков еще рассказал мне об Ирине Александровне Томиловой. Она выходила замуж за какого то врача Иконникова.

\* \* \*

На другой день надзиратель сейчас же после чая велел мне собраться. Он повел меня в одиночку в конце коридора. В комнатке совершенно негде было повернуться. Койка, столик — и больше ни одного дюйма площади. Одиночества же я не переносил.

Мне удалось скандалом, стуками, криками добиться вызова в контору. Там, дрожа от перспективы снова быть запертым в эту крошечную клетку, я почти вымолил у начальника перевода в общую камеру. Она была сырая, темная, набитая заключенными и клопами, в нижнем этаже.

Но наслаждение и радость, охватившие меня, когда я вошел в нее со своим узелком и увидел шевелящуюся россыпь людей, были одним из самых сверкающих переживаний в моей жизни. Прямо против камеры, на той же площадке, была дверь „секретной“.

А к вечеру по тюрме разнеслась песня. Пел необычайной красоты голос. Особенно хорошо были слышны звуки в нашей камере. Словно пели рядом. Потом мы догадались, что тот, кто поет, сидит в секретной. Это пел смертник.

А вскоре я узнал, что поет Корольков, иловлинец, тот самый, который любил яблони, духовитость груши и всякую „фрукту“ и которому быть бы садоводом, а не воякой. Арестантам запрещалось шуметь и голосить. Но как быть с секретной? Администрация не знала, что предпринять. По крайней мере, пение продолжалось беспрепятственно до поздней ночи. Очевидно, смерть давала все же какие-то права. Наконец — случай был неожиданный, без прецедентов. Разве

у могилы может притти охота петь песни? Это случилось впервые.

До поздней ночи пел Корольков. Было уже совсем темно и в корпусе полагались тишина и сонное молчанье. А чистые звуки красиво и тревожаще будили и рвали тишину. Много там было про любовь, про звезды, про родину-мать. Иногда слова были невнятные, а напев лился и рассказывал свое, отдельное от слов, разудалое, разухабистое и вдруг повитое тоской. И каждая песнь кончалась замиранием и стоном. И только казалось, что наступает безмолвие, что не хватило уже звуков, как опять в ночи развевалась жалоба и томление в звонком человеческом голосе. Я закрывал глаза, и выходило так, что в поле, в снопах, лежит человек и поет про туман и дальнюю дорогу.

Потом все стихло. Было уже около полночи.

Вскоре стукнула осторожно калитка. Я вскочил на нары и неслышно пробрался к окну. Кой-где в темноте камеры притаились у окон еще несколько заключенных. Мы смотрели во двор. Очертанье отдельных фигур расплывалось во мраке. И все мы, стоявшие, вытянувшись на нарах, походили на привидения.

Во дворе было безмолвие. Там скользили, глуша топот ног, тени. От калитки к конторе двигался призрак — привратник с потайным фонарем. За ним — темные молчаливые люди. Пламя мигнуло и исчезло: привратник вошел в контору. Потом огонек засветился снова и перерезал двор.

Я соскочил с нар и подкрался к двери. В коридоре слышны были осторожные шаги. Я припик к глазку. Белесая тьма обманными пятнами ходила по площадке. Когда глаз привык, уже можно было различить отдельные фигуры. Надзиратель повернул ключ. В секретную прошли, один за другим, несколько человек. Глухо, как из-под земли, донеслись голоса.

Сколько прошло минут — я не знал. Тишина обнимала мир. Потом как-то совсем неожиданно на площадке опять показались люди. Кто-то сказал негромко: „Здесь лестница, берегись“.

Теперь в двигавшихся пятнах можно было уже различить какой-то порядок. Кого то вели. Два человека были посредине. По их движениям я понял, что руки

у них были заложены за спину. Они были связаны. На казнь! Холодное содроганье проникло в меня.

Корridor и лестница опустели. Сквозная тьма снова ходила обманными пятнами на площадке. Я стоял у глазка, как-будто схваченный какой-то жуткой и ледящей силой. Кровь толчками била в голову. Я почувствовал себя раздавленным и уничтоженным этой тьмой.

Еще раз, как крышка гроба, хлопнула калитка. Теперь больше ничто не нарушало безмолвия тюрьмы, — ни песня, ни проклятие. Я оторвался от двери. Обесиленный, я лег на нары.

Потом я закрыл глаза. Смерть! Я хотел представить себе этих людей, связанных и убиваемых. Вместо этого мне начало казаться, что ведут казнить меня. Вот — черный овраг, насыпь, все ближе и ближе жадная земля. Я стою на краю ямы. Холодный ветер треплет порывами растегнутый ворот. Сияние звезд в черном небе бес-предельно жестоко.

Я почувствовал, что становлюсь огромным. Во мне рос и расширялся неповторимый мир. То, что наполняло меня, — моя душа, — обняло и эту ночь и землю и небо и все существования и прошлое и будущее. Не осталось ничего. Был только я. Я — один. И все — во мне. А вне меня мрак.

Так разве можно убить меня? Ведь это значит — убить мир! Вселенную! Прошлое и будущее!

Я открыл глаза. Стены камеры обступили меня. Дыхание спящих шевелило сумрак.

Три слабых звука, почти неуловимых, призрачных как мираж, прилетели откуда-то. Что это? Сломалась во дворе ветка? Или выстрелы? Неужели ветер донес их сюда?

О, месть! Месть тем, кто убивает!

\* \* \*

12 августа с раннего утра в тюрьме началось оживление. Двор наполнился целой командой солдат, только что прибывших с железной дороги. Канцеляристы, как оголтелые, выбегали каждую минуту из конторы. На улице перед воротами стояли телеги.

Тюрьма жила еще со вчерашней ночи слухами. Теперь это была уже уверенность. Получивших каторгу отпра-

вляли в новочеркасский централ. Янкель носился по корридорам, заглядывал в камеры и был на вершине торжества. Он узнал конвойных. — Так это же они самые! — восторженно кричал он. — Самые настоящие новочеркасские. Я же их сразу угадал. Смотрите, какие у них шапки, это же они!

Обедали рано. И сейчас же стали вызывать во двор заключенных. Мой багаж я завернул в одеяло, на плечи набросил шинель, присланную Михайленко. Когда открыли камеру, я и другие каторжники спустились во двор.

День был ясный, с редкими облаками. Я расставался с нижнечирской тюрьмой без сожаления. На душе почему-то было радостно. Легкое волнение меня бодрило и возбуждало. Я смотрел с неопределенной улыбкой на белые стены корпуса. Как-будто опустилось куда-то все мрачное и жестокое, что несло в себе это полу-круглое здание.

Из конторы вышел начальник тюрьмы. С ним был молодой горбоносый офицер, командир конвоя. Они спустились с порога. Суетясь, солдаты построили нас в два ряда. Офицер по бумаге сделал перекличку, громко называя фамилии.

Открылись широко ворота. Караул окружил нас. При первом слове команды конвойные выхватили пашки. Посторонние отошли. Отчетливо и резко прозвучало:

— Трогай!

Тюрьма провожала нас приветствиями и взглядами из-за решеток.

В первом ряду шагал со мной Капров. За плечами у него болтался мешок, безбровое лицо, покрытое без-козыркой, лоснилось, крепкие ноги уверенно вжимались в землю. Старик Чепыхин по правую руку нес понуро голову; большие глаза его слезились сильнее обыкновенного. Длинный Костюков переставлял ноги, как жерди. Красавец Юганов молодецкато выпрямлял строй-ную фигуру; его взгляд вызывающе и презрительно скользил по лицам зевак. Из домов выбегали жители и останавливались с испугом и любопытством.

Впереди шли мужчины, а в задних рядах — жен-щины. Дальше скрипели телеги с пожитками и со сла-быми. На одной из них сидел хромой Никулихин

в валенках и теплом шарфе. Шествие растянулось на полквартала. Вдоль улицы, с обеих сторон, торопясь и путаясь, то перегоняя, то отставая, следовали жены, матери, сестры.

Мне казалось, что все встречные смотрят на меня. Я же не испытывал ни неловкости, ни стыда. Было приятно чувствовать себя здоровым, свободным от всякой подавленности. Я с каким-то удовольствием месил пыль. И смеялся, когда Капров, поймав чей нибудь любопытный взгляд, впивался в прохожего колючими глазами и шипел:

— Проходи, стерва. У, сволочь!

Или:

— Попадешься, гадюка, — раздавлю!

И свирепо шевелил как иглами редкими кустиками усов.

Баклановский проспект был полон гуляющих. Франтовые офицеры что-то говорили дамам и указывали на нас. У одного дома я услышал безцеремонный хохот и фырканье. Этот дом был мне знаком. На галерее стоял Тарасов, какие-то женщины, поднималась над барьером надменно плоская Лидия Викторовна и егозила Наташа. Кудряшки дочери выделялись рядом с мелкими завитками матери. Я поднял голову.

С галереи на меня показывали пальцами и смеялись. Этот смех почему-то спутался во мне с трупам повешенных на деревьях, и веселая женская суэта вверху на балкончике показалась мне жуткой как у открытой могилы.

— Если там, у большевиков, чистое дело, — вспомнил я слова Румянцева, — то здесь, у этих, что же? Но ведь, в конце концов, побеждает тот, кто чист. Эх, милый начснаб, где ты теперь? Жив ли еще?

Уже при выходе из станицы подбежала к нам старушка. Конвойные не успели остановить ее. Она засуетилась около меня. Огромный каравай хлеба втиснулся в мои руки и еще что-то, оказавшееся медяком, ощутил я в ладони. Солдат отогнал женщину. Крестьянка пробормотала:

— Помоги, господь, несчастеньким...

Севшие в разбивку домики окраины остались далеко позади. Началась степь.

Ветер ерошил густую, уже слегшую под августовским зноем, траву. Зеленое море катилось без конца в земных просторах. Высоко ходили пушистые, одинокие облака. После серых стен, человеческих испарений, душных корридоров, ночных призраков, дорога в ярких пятнах цветов была как сказочный ковер.

Жизнь же казалась неистребимой.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ.

То, что здесь описано, — не вымысел. И события и действующие лица — участники того периода гражданской войны, который захватил первую осаду Царицына Красновскими генералами.

Как распутался узел казачьей Вандеи — уже известно. Попутно история вынесла свой приговор и отдельным человеческим единицам, захваченным борьбой красных с белыми на Дону. „Одних уж, нет, а те далече“. Одними уже овладела смерть, других ход событий разметал в разные стороны, далеко друг от друга. Несмотря на это, автору благодаря случайным сведениям удалось после победоносного распространения власти Советов на весь Юго-Восток России и Кавказ установить судьбу большинства выведенных им в этом повествовании лиц.

Доктор Михайленко очутился в Болгарии. Анна Ивановна, лишенная дома и Алексеены, до сих пор живет в Нижне-Чирской. Полковник Тарасов три дня был начальником милиции Ростова и Нахичевани на Дону, — последние три дня перед захватом этих городов Буденным. В настоящее время он в Сербии ждет свержения большевиков. Мамонтов умер в Новороссийске от сыпного тифа еще при Деникине, уже скатывавшемся тогда в Черное море. Полковник — потом генерал — Секретев, амнистированный советским правительством, вернулся в СССР и работает теперь в Москве, в одном из учреждений Красной Армии. Семейство Томиловых перебралось в конце концов, в Ленинград к мужу, а с ними и Ирочка Днепров, — ныне работница Отдела Связи.

Начдив Степин в 1920 году умер от тифа командармом IX, а год спустя комиссар снабжения этой армии Поломейко погиб на полевых работах от руки бандитов в совхозе где то под Краснодаром. Румянцев сделал в короткий срок карьеру от начснаба дивизии до начснаба войск Кавказского фронта, а в 1923 г. совсем отошел от военной службы. Тер состоял при Реввоенсовете Кавфронта, во время пребывания последнего в Ростове на Дону.

Из тюремных спутников я помню встречу с Капоровым в здании Донского Областного Продовольственного Комитета, куда он приехал из Округа за инструкциями, как продовольственный агент.

Тетя Фейга, — Милютин, — теперь в Москве, артистка театра Сатиры, а Олидорт — ростовский журналист и автор авантюрно-советских книжек в стиле Джима Доллара.

Дилле, по слухам, перекочевал в Латвию.

Самого же автора освободил из новочеркасской каторжной тюрьмы приход Красной Армии.

1927 г.